Чехов в жизни: сюжеты для небольшого романа

Игорь Николаевич Сухих

SHOUT
SHARE
IT

•

Жанр

Идея этой вещи возникла в Ялте, в апреле две тысячи девятого, во время традиционной конференции в чеховском последнем доме, на Белой даче. Жанр не нужно было придумывать, его основоположником считается В. Вересаев. “Пушкин в жизни” (1927) был продолжен его же “Гоголем в жизни” (1934) и аналогичными опытами двадцатых–тридцатых годов о Лермонтове, молодом Толстом, Островском.

Вересаева упрекали в использовании недостоверных источников, анекдотизме, но образ поэта, возникающий из столкновения противоречивых версий, оказался убедительным и привлекательным, не отмененным ни последующими исследованиями, ни романными версиями.

Биография Чехова не излагалась в подобном жанре (за исключением малозамеченного опыта Вал. Фейдера “Чехов: литературный быт и творчество по мемуарным материалам”), в то время как обычных повествований в духе “Жизни замечательных людей” за сто лет на русском языке опубликовано около дюжины. Между тем именно чеховская жизнь (о чем я недавно писал в “Неве”) буквально напрашивается на подобную форму.

Чехов признавался, что страдает “автобиографофобией”. Однако корпус мемуарных и эпистолярных материалов о его жизни огромен (достаточно сопоставить с ним количество и качество источников о Лермонтове, Гончарове или, например, Андрее Платонове).

Публикацию в начале прошлого века чеховских писем современники называли вторым собранием сочинений (сегодня этот эпистолярий составляет четыре с половиной тысячи номеров, еще более полутора тысяч не сохранились).

Чехов умер настолько рано, что свои свидетельства о нем успели оставить не только близкие родственники (братья Александр и Михаил, позднее — сестра Мария Павловна), многие сверстники (Короленко, Потапенко, Гиляровский), литературные потомки (Бунин, Горький, Куприн, Щепкина-Куперник), но и люди предшествующих поколений (Толстой, Суворин, Репин, Ковалевский).

В то же время он ушел настолько поздно, что русское общество уже понимало, кого потеряло, поэтому все, от “белокурых студентов” до газетных корреспондентов, спешили рассказать городу и миру об одной или двух случайных встречах.

Монтаж документов, столкновение разных взглядов,

постоянно корректируемое собственным словом Чехова, создает эффект достоверности, трудно достижимый какой-то нарративной биографией, строящейся на раскавычивании и интерпретации тех же документов. Там, где остались пробелы среди бумаг, не стоит насиловать своими гипотезами чужую жизнь: лучше ограничиться острожными предположениями или просто поставить точку.

Один чеховский биограф утверждает: написание настоящей чеховской биографии может занять время большее, чем жизнь самого писателя. Признание поразительное: времени не хватает, чтобы описать, а он это прожил и сделал. За сорок четыре года, по нынешним временам — время ранней зрелости.

Такое подробное жизнеописание, впрочем, существует и называется — летопись. В хронику трудов и дней обычно заглядывают лишь специалисты, уточняя даты и вспоминая имена.

Биография — не летопись, которая, как в воображаемом Музее Николая Федорова, стремится учесть абсолютно все оставленные человеком жизненные следы. Отбор и выбор — уже концепция, точка зрения. Два рядом поставленные фрагмента – интерпретация. Десятки и сотни противоречивых свидетельств — трудноконтролируемая мозаика, размывающая исходные установки.

Идея и образ в этой книге, надеюсь, есть. Их не нужно дополнительно пояснять "жалкими" словами (хотя до конца от авторских объяснений избавиться тоже не удалось).

Журнальная публикация не может быть по-вересаевски подробной, здесь лишь намечены основные темы, обозначены конфликты: это только схема, ***сюжет для небольшого романа****. В полном виде книга готовится в издательстве "Время".*

Литературоведы иногда возмущаются, что другие литературоведы делают Чехова бесплотным святым. Самые горячие головы — уже из сочинителей — даже сравнивали его со Спасителем, отдавая предпочтение писателю за его недидактизм, неавторитарную этику.

Словно в ответ, явились версии "другого", "настоящего" Чехова — то эротомана, то женофоба, то замученного семьей чахоточного больного. Проблема здесь не в фактах (их круг, в общем, установился, и вряд ли может быть резко расширен), а в их интерпретации: исходной установке, оркестровке, интонации разговора. Избирая рекламно-сенсационный или агрессивно-уличающий тон, авторы подобных повествований или исследований, люди интеллигентные, увенчанные званиями и даже порой сочиняющие стихи, оказываются частью той черни, толпы,

которую Пушкин противопоставлял простодушию гения.

В чеховских записных книжках трижды повторяется суждение, которое он не успел передать кому-то из героев. "Какое наслаждение уважать людей! Когда я вижу книги, мне нет дела до того, как авторы любили, играли в карты, я вижу только их изумительные дела".

И здесь он оказался щедрее и великодушнее своих будущих критиков.

"Напишите-ка рассказ…" Такой рассказ — о сотворении человека — он тоже написал. Собственной жизнью.

Сюжет

Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости. Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества,— напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая...

Чехов — А. С. Суворину, 7 января 1889 г. Москва

Портрет

У Чехова каждый год менялось лицо:

В 79 г. по окончании гимназии: волосы на прямой ряд, длинная верхняя губа с сосочком.

В 84 г.: мордастый, независимый; снят с братом Николаем, настоящим монголом.

В ту же приблизительно пору портрет, писанный братом: губастый, башкирский малый.

В 90 г.: красивость, смелость умного живого взгляда, но усы в стрелку.

В 92 г.: типичный земский доктор.

В 97 г.: в каскетке, в пенсне. Смотрит холодно в упор.

А потом: какое стало тонкое лицо!

И. А. Бунин. Чехов

Мальчиком Чехов был, по словам его школьного товарища Сергеенко, "вялым увальнем с лунообразным лицом". Я, судя по портретам и по рассказам родных Чехова, представляю его себе иначе. Слово "увалень" совсем не подходит к хорошо сложенному, выше среднего роста мальчику. И лицо у него было

не “лунообразное”, а просто — большое, очень умное и очень спокойное. Вот это то спокойствие и дало, вероятно, повод считать мальчика Чехова “увальнем”, — спокойствие, а отнюдь не вялость, которой у Чехова никогда не было — даже в последние годы. Но и спокойствие это было, мне кажется, особенное — спокойствие мальчика, в котором зрели большие силы, редкая наблюдательность и редкий юмор. Да и как, в противном случае, согласовать слова Сергеенко с рассказами матери и братьев Чехова о том, что в детстве “Антоша” был неистощим на выдумки, которые заставляли хохотать до слез даже сурового в ту пору Павла Егоровича!

И. А. Бунин. Чехов

Передо мною был молодой и еще более моложавый на вид человек, несколько выше среднего роста, с продолговатым, правильным и чистым лицом, не утратившим еще характерных юношеских очертаний. В этом лице было что-то своеобразное, что я не мог определить сразу и что впоследствии, по-моему, очень метко, определила моя жена, тоже познакомившаяся с Чеховым. По ее мнению, в лице Чехова, несмотря на его несомненную интеллигентность, была какая-то складка, напоминавшая простодушного деревенского парня. И это было особенно привлекательно. Даже глаза Чехова, голубые, лучистые и глубокие, светились одновременно мыслью и какой-то, почти детской, непо-средственностью.

В. Г. Короленко. Антон Павлович Чехов

Я познакомился с Чеховым, как уже поминал выше, в самом начале 87-го года. Один из русских писателей, рассказывая о первой встрече с Чеховым приблизительно в то же время, писал, что в лице Чехова он нашел много сходства с лицом простого деревенского парня, и это же подтвердил кто-то из его семьи. О таких субъективных впечатлениях не спорят. Мне же Чехов показался всего более похожим на интеллигентного, бесконечно симпатичного студента, каким, в сущности, он и был года за два, за три до нашей встречи. От этого времени сохранился замечательный портрет Чехова, дающий о нем превосходное представление. Мне он подарен Чеховым в апреле 1889 года (под надписью на портрете есть дата), но снят в Петербурге у Пазетти, кажется, годом раньше; лицо в три четверти; на Чехове пиджак, крахмальная сорочка и белый галстук.

А. С. Лазарев-Грузинский. А. П. Чехов

Чехов был одним из самых душевных людей, которых я знал когда-либо. Я не скажу ничего нового, отметив, что в Чехове были видны большой ум и большая духовная сила, но, кроме того, в его внешности, в манере держать себя сквозило какое-то врожденное

благородство, точно он был странным и чуждым пришельцем в доме родителей, быть может, и милых (мать Чехова), но совсем уже незатейливых людей. И мне казалось, что от Чехова не может укрыться ни малейшая фальшь и ему невозможно солгать; позже то же писал о Льве Толстом один из знакомых Толстого. Очень талантливым членом семьи Чеховых был рано умерший художник — Николай, но это был простой, очень несложный “рубаха-парень”. Антон Чехов стоял от него на недосягаемой высоте, и появление Антона в семье Чеховых было для меня загадкою, которой я не мог разрешить за всю жизнь.

В восьмидесятых годах, когда я познакомился с Чеховым, он казался мне очень красивым, но мне хотелось услышать женское мнение о наружности Чехова, и я спросил одну женщину исключительной красоты, когда-то встречавшуюся с Чеховым, что представлял собой Чехов на женский взгляд?

Она ответила:

— Он был очень красив.

А. С. Лазарев-Грузинский. А. П. Чехов

Он был красавец. У него было большое открытое лицо с добрыми смеющимися глазами. Беседуя с кем-либо, он иногда пристально вглядывался в говорящего, но тотчас же вслед опускал голову и улыбался какой-то особенной, кроткой улыбкой. Вся его фигура, открытое лицо, широкая грудь внушали особенное к нему доверие, — от него как бы исходили флюиды сердечности и защиты... Несмотря на его молодость, даже юность, в нем уже тогда чувствовался какой-то добрый дед, к которому хотелось прийти и спросить о правде, спросить о горе и поверить ему что-то самое важное, что есть у каждого глубоко на дне души. Антон Павлович был прост и естественен, он ничего из себя не делал, в нем не было ни тени рисовки или любования самим собою. Прирожденная скромность, особая мера, даже застенчивость — всегда были в Антоне Павловиче.

К. А. Коровин. Из моих встреч с А. П.Чеховым

Хороши у него бывали глаза, когда он смеялся, — какие-то женски ласковые и нежно мягкие. И смех его, почти беззвучный, был как-то особенно хорош. Смеясь, он именно наслаждался смехом, ликовал; я не знаю, кто бы мог еще смеяться так — скажу — “духовно”.

М. Горький. А. П. Чехов

Положительный, трезвый, здоровый, он мне напоминал тургеневского Базарова. <...> Тонкий, неумолимый, чисто русский анализ преобладал в его глазах над всем выражением лица. Враг сантиментов и выспренних увлечений, он, казалось, держал себя в мундштуке холодной иронии и с удовольствием

чувствовал на себе кольчугу мужества. Мне он казался несокрушимым силачом по складу тела и души.

И. Е. Репин. О встречах с А. П. Чеховым

Из коляски легко, по-молодому, выскочил Морозов, без фуражки, в парусиновой блузе и высоких охотничьих сапогах. Его лицо — монгольского бородатого божка — хитро щурилось.

— А я вам гостя привез! — шепнул он мне, здороваясь.

Следом за ним с подножки коляски осторожно ступил на землю высокий, сутулый человек, в кепке, узком черном пиджаке, с измятым галстуком-бабочкой. Его лицо в седеющей, клином, бородке было серым от усталости и пыли. У левого бедра на ремне через плечо висела в кожаном футляре квадратная фляжка, какую носят охотники. Помятые брюки просторно болтались на длинных, сходящихся коленями ногах.

В нескольких шагах от нас он вдруг глухо и надолго закашлялся. Потом отвинтил от фляжки никелированную крышку и, отвернувшись конфузливо в сторону, сплюнул в отверстие фляжки вязкую мокроту... Молча подал мне влажную руку... Поправил пенсне... Прищурившись, оглядел с высокого откоса млеющие в горячем тумане заречные дали, провел взглядом по изгибам полусонной речки и сказал низким, хриповатым от кашля голосом:

— А, должно быть, здесь щуки водятся?!

Это был Чехов.

А. Серебров (Тихонов). О Чехове

В Москве я видел человека средних лет, высокого, стройного, легкого в движениях; встретил он меня приветливо, но так просто, что я принял эту простоту за холодность. В Ялте я нашел его сильно изменившимся: он похудел, потемнел в лице, двигался медленнее, голос его звучал глуше. Но, в общем, он был почти тот же, что в Москве: приветлив, но сдержан, говорил довольно оживленно, но еще более просто и кратко и во время разговора все думал о чем-то своем, предоставляя собеседнику самому улавливать переходы в скрытом течении своих мыслей, и все глядел на море сквозь стекла пенсне, слегка приподняв лицо.

И. А. Бунин. Чехов

Хотя я и был подготовлен к тому, что увижу, но то, что я увидал, превосходило все мои ожидания, самые мрачные. На диване, обложенный подушками, не то в пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тоненький, как будто маленький, человек с узкими плечами, с узким бескровным лицом — до того был худ, изнурен и неузнаваем Антон Павлович. Никогда не поверил бы, что возможно так измениться.

А он протягивает слабую восковую руку, на которую страшно

взглянуть, смотрит своими ласковыми, но уже не улыбающимися глазами и говорит:

— Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать.

Он сказал другое, не это слово, более жесткое, чем “умирать”, которое не хотелось бы сейчас повторить.

— Умирать еду, — настоятельно говорил он. — Поклонитесь от меня товарищам вашим по “Среде”. Хороший народ у вас подобрался. Скажите им, что я их помню и некоторых очень люблю... Пожелайте им от меня счастья и успеха. Больше уже мы не встретимся.

Тихая, сознательная покорность отражалась в его глазах.

Н. Д. Телешов. А. П. Чехов

“Чехов неуловим. В нем было что-то необъяснимо нежное”, — сказал, осматривая мою работу, В. А. Серов, который так же обожал Антона Павловича и когда-то сделал с него набросок.

Н. П. Ульянов. К портрету А. П. Чехова

Характер

Ты пишешь, что завидуешь моему характеру. Должен сказать тебе, что от природы характер у меня резкий, я вспыльчив и проч. и проч., но я привык сдерживать себя, ибо распускать себя порядочному человеку не подобает. В прежнее время я выделывал черт знает что. Ведь у меня дедушка, по убеждениям, был ярый крепостник.

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой, 11 февраля 1903 г. Ялта

Я спрашивал Евгению Яковлевну (мать Чехова) и Марью Павловну:

— Скажите, Антон Павлович плакал когда-нибудь?

— Никогда в жизни, — твердо отвечали обе.

Замечательно.

И. А. Бунин. Чехов

Нет, Чехов не был ни ангелом, ни праведником, а был человеком в полном значении этого слова. И те уравновешенность и трезвость, которыми он всех изумлял, явились результатом мучительной внутренней борьбы, трудно доставшимися ему трофеями. Художник помогал ему в этой борьбе, он требовал для себя все его время и все силы, а жизнь ничего не хотела уступить без боя. И она права: чтобы быть великим знатоком жизни, нужно испытать ее ласки и удары на самом себе. Разве Гёте и Пушкин были праведники, разве они не были “в забавах суетного света малодушно погружены”?

И в жизни Чехова было все, все было пережито им — и большое, и ничтожное. И если полноте переживаний часто мешали его осторожность и как бы боязнь взять на себя всю ответственность, то причиной этого был талант, который

требовал от него большой службы и ревновал его к жизни.

И. Н. Потапенко. Несколько лет с А. П. Чеховым

Я думаю, что всегда, с утра до вечера, а может быть, даже и ночью, во сне и бессоннице, совершалась в нем незримая, но упорная, порою даже бессознательная работа — работа взвешивания, определения и запоминания. Он умел слушать и расспрашивать, как никто, но часто, среди живого разговора, можно было заметить, как его внимательный и доброжелательный взгляд вдруг делался неподвижным и глубоким, точно уходил куда-то внутрь, созерцая нечто таинственное и важное, совершавшееся в его душе. Тогда-то А. П. и делал свои странные, поражавшие неожиданностью, совсем не идущие к разговору вопросы, которые так смущали многих. Только что говорили и еще продолжают говорить о неомарксистах, а он вдруг спрашивает: “Послушайте, вы никогда не были на конском заводе? Непременно поезжайте. Это интересно”. Или вторично предлагал вопрос, на который только что получил ответ.

А. И. Куприн. Памяти Чехова

Очень широкое добродушие А. П. Чехова и снисходительность его к людям, неверно понятые и окрашенные иными чувствительными мемуаристами, придали, во многих воспоминаниях, образу его какую-то напрасную и никогда не бывалую в нем мармеладность. Точно этот поэт безвольного времени и безвольных людей и сам был безвольным человеком. Отнюдь нет. Чехов был человек в высшей степени сознательный, отчетливый, чутко ощущавший себя и других, осторожный, многодум и долгодум, способный годами носить свою идею молча, пока она не вызреет, вглядчивый в каждую встречность и поперечность, сдержанный, последовательный и менее всего податливый на подчинение чужому влиянию. Я не думаю даже, чтобы на Чехова можно было вообще влиять, в точном смысле этого слова, то есть внушить ему и сделать для него повелительной мысль, которая была чужда или антипатична его собственному уму. Чтобы чужая мысль могла быть принята, одобрена и усвоена Чеховым, она должна была совпасть с настроением и работою его собственной мысли. А работа эта шла постоянно, непрерывно и... таинственно. Кому из работавших с Чеховым не известно, что он иногда на прямо обращенные к нему вопросы и недоумения отвечал странным, ничего не говорящим взглядом либо еще более странными, шуточными словами? Кому, наоборот, не случалось слыхать от него произносимые среди разговора внезапные загадочные слова, которые повергали собеседника в недоумение: что такое? с какой стати? — а Чехова

вгоняли в краску и конфуз. Это — разрешалась вслух, в оторвавшейся от окружающего мира сосредоточенности, долгая и упорная, безмолвная внутренняя работа писательской мысли над вопросом, когда-нибудь не нашедшим себе ответа, над образом, не нашедшим себе воплощения. Я сам был свидетелем подобных чеховских экспромтов, но особенно богаты ими воспоминания актеров московского Художественного театра. Типический аналитик-материалист, “сын Базарова”, неутомимый атомистический поверщик жизни, враг всякой априорности и приятия идей на веру, Антон Павлович, я думаю, и таблицу умножения принял с предварительным переисследованием, а не на честное слово Пифагора и Евтушевского. Влиять на этот здравый, твердый, строго логический и потому удивительно прозорливый ум была задача мудреная. Правду сказать, вспоминая людей, о которых говорят, будто они влияли на Чехова, я ни одного их них не решусь признать на то способным. То, что имело вид влияния, очень часто было просто своеобразным “непротивлением злу”, то есть какому-нибудь друже-скому насилию, которому Антон Павлович зримо подчинялся по бесконечной своей деликатности. А иногда и по той, слегка презрительной, лени и равнодушию к внешним проявлениям и условностям житейских отношений, что развивались и росли в нем по мере того, как заедал его роковой недуг. Оседлать Чехова навязчивой внешней дружбой, пожалуй, еще было можно, хотя, сдается мне, и то было нелегко. Подавлять же и вести на своей узде творческую мысль Чехова вряд ли удавалось кому-нибудь с тех пор, как в Таганроге он впервые произнес “папа” и “мама”, до тех пор, когда в Баденвейлере прошептал он холодеющими устами немецкое “ich sterbe”.

А. В. Амфитеатров. Десятилетняя годовщина

В застегнутом на все пуговицы сюртуке мне тогда уже бросилась в глаза худая грудь. Тощая, среднего роста фигура, открытое и умное лицо, необычайная простота в разговоре и особенный честный тон — иначе я затрудняюсь назвать — эти черты мне показались страшно знакомыми и дорогими. Это черты хорошей тогдашней интеллигенции, нынче уже как будто исчезающей. Поколение Чехова, воспитанное на Белинском, Добролюбове, Писареве, выдвинуло ряд разнообразных типов; между ними были и грубые, с оттенком пошлого во всем цинизма, но были и удивительные по нравственной красоте. Мне показалось, что Чехов принадлежит к благороднейшим людям этого поколения, и я не ошибся. Скажу прямо, я встречал людей не менее искренних, чем Чехов, но людей до такой степени простых, чуждых всякой фразы и аффектировки, я не помню. Это

не была напускная, как у многих, выработанная простота, а требование души, для которой всякая фальшь была мучительна. <…>

Глядя на Чехова, я часто думал: вот какими будут русские, когда они окончательно сделаются европейцами. Не утрачивая милой мягкости славянской души, они доведут ее до изящества. Не потеряв добродушия и юмора, они сбросят только цинизм. Не расставаясь со своей природой, они только очистят ее от заскорузлой тины, грязи, лени, невежества и еще раз лени. Русский европеец, — я его представляю себе существом трезвым, воспитанным, изящным, добрым и в то же время много и превосходно работающим. Таким был Чехов, как человек, помимо его прекрасного таланта.

М. О. Меньшиков. Памяти А. П. Чехова

Семья

Царствование Николая I.

1825 Родился в с. Ольховатке Воронежской губ. Острогож. уезда от Георгия и Ефросинии Чеховых.

1830 Помню, что мать моя пришла из Киева, и я ее увидал.

1831 Помню сильную холеру, давали деготь пить.

1832 Учился грамоте в с <ельской> школе, преподавали по А<з> Б <уке> по-граждански.

1833 Помню неурожай хлеба, голод, ели лебеду и дубовую кору.

<…>

1841 Отец откупил все семейство на волю за 3500 руб. ас <сигнациями> по 700 р. за душу.

1844 Из Ольховатки переехал в Таганрог 20 июля к купцу Кобылину.

1845 Начал там заниматься торговлею по конторской части.

1854 Вступил в брак с девицею Е. Я. Морозовою 29 октября.

<…>

1860 По выбору целого городского общества утвержден ратманом таганрогской полиции 2 генваря градоначальником.

Родился у нас сын Антоний 17 генваря

<…>

1878. Антоша остался в Таганрогской гимназии оканчивать учение.

Мамаша скончалась 26 февраля в Княжей.

<…>

1879 Антоша по окончании курса в Таганрогской гимназии приехал в Москву 8 августа для поступления в университет. По возвращении из Москвы и Калуги Георгий Михайлович, родоначальник наш, умер 12 марта в слободе Твердохлебовое

Бог. уез.

1881 Кончина Александра II, царствование Александра III.

Жизнь Павла Чехова

Я не знаю, кто был наш прадед с отцовской стороны, Михаил Емельянович. Со слов отца мне известно, что у прадеда был брат, Петр Емельянович, который по какому-то случаю собирал на построение храма, исходил всю Россию пешком вдоль и поперек и действительно выстроил церковь в Киеве. Наша семейная хронология застает нашего деда, Егора Михайловича, в селе Ольховатке, Воронежской губернии, Острогожского уезда, уже женатым, имеющим трех сыновей и дочь. Все они — крепостные помещика Черткова, внук которого впоследствии был ближайшим единомышленником Льва Толстого. Ненасытная жажда свободы заставила нашего деда выкупиться на волю еще задолго до всеобщего освобождения крестьян. На выкуп дочери Александры у него денег не хватило, и, прощаясь с помещиком, он убедительно просил его не продавать ее на сторону, а подождать, пока у него будут деньги и он сможет выкупить и ее. Чертков подумал, махнул рукой и сказал:

— Так уж и быть, бери ее в придачу.

И стала таким образом свободной и моя тетушка Александра Егоровна.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

Отец и мать — единственные для меня люди на всем земном шаре, для которых я ничего никогда не пожалею. Если я буду высоко стоять, то это дела их рук, славные они люди, и одно безграничное их детолюбие ставит их выше всяких похвал, закрывает собой все их недостатки, которые могут появиться от плохой жизни, готовит им мягкий и короткий путь, в который они веруют и надеются так, как немногие.

Чехов — М. М. Чехову, 29 июля 1877 г. Таганрог

У него была большая семья: отец, мать, четыре брата и сестра. По моим впечатлениям, отношение к ним у него было разное, одних он любил больше, других меньше. На одной стороне была мать, два брата и сестра, на другой — отец и другие два брата. Брат Николай, молодой художник, умер от чахотки как раз в годы нашего первого знакомства. Его другого брата, Ивана, о котором я уже упоминал, я постоянно встречал у Антона Павловича и в деревне, и в Крыму. Он — это я почувствовал особенно ярко после смерти Антона Павловича — необыкновенно напоминал его голосом, интонациями и одним жестом: как-то кулаком по воздуху делать акценты на словах.

Я не знаю точно, какое отношение было у А. П. к отцу, но вот что раз он сказал мне.

Это было гораздо позднее, когда мы уже были близки. Мы оба были зимой на Французской Ривьере и однажды шли вдвоем с интимного обеда от известного в то время профессора Максима Ковалевского — у него была своя вилла в Болье. Мы шли “зимней весной”, в летних пальто, среди тропической зелени, и говорили о молодости, юности, детстве, и вот что я услыхал:

— Знаешь, я никогда не мог простить отцу, что он меня в детстве сек.

А к матери у него было самое нежное отношение. Его заботливость доходила до того, что, куда бы он ни уезжал, он писал ей каждый день хоть две строчки. Это не мешало ему подшучивать над ее религиозностью. Он вдруг спросит:

— Мамаша, а что, монахи кальсоны носят?

— Ну, опять! Антоша вечно такое скажет!.. — Она говорила мягким, приятным, низким голосом, очень тихо.

И вся она была тихая, мягкая, необыкновенно приятная.

Сестра, Марья Павловна, была единственная, это уже одно ставило ее в привилегированное положение в семье. Но ее глубочайшая преданность именно Антону Павловичу бросалась в глаза с первой же встречи. И чем дальше, тем сильнее. В конце концов она вела весь дом и всю жизнь свою посвятила ему и матери. А после смерти Антона Павловича она была занята только заботой о сохранении памяти о нем, берегла дом со всей обстановкой и реликвиями, издавала его письма и т. д.

И Антон Павлович относился к сестре с необычайной преданностью. Впоследствии, судя по опубликованным письмам, это даже возбуждало временами ревность его жены, О. Л. Книппер.

Антон Павлович очень рано стал “кормильцем” всей семьи и, так сказать, главой ее. Я не помню, когда умер отец. Я встречал его редко. Осталась в памяти у меня невысокая суховатая фигура с седой бородой и с какими-то лишними словами.

Вл. И. Немирович-Данченко. Чехов

Из нашего пребывания в Ялте у меня остался в памяти еще один эпизод. Как-то днем прихожу к Антону Павловичу — вижу, он свиреп, лют и мохнат; одним словом, таким я его никогда не видел. Когда он успокоился, выяснилось следующее. Его мамаша, которую он обожал, собралась наконец в театр смотреть “Дядю Ваню”. Для старушки это был совершенно знаменательный день, так как она ехала смотреть пьесу Антоши. Ее хлопоты начались уже с самого раннего утра. Старушка перерыла все сундуки и на дне их нашла какое-то старинного фасона шелковое платье, которое она и собралась надеть для торжественного вечера. Случайно этот план открылся, и Антон Павлович разволновался.

Ему представилась такая картина: сын написал пьесу, мамаша сидит в ложе в шелковом платье. Эта сентиментальная картина так его обеспокоила, что он хотел ехать в Москву, чтобы только не участвовать в ней.

К.С. Станиславский. А. П. Чехов в Художественном театре

Моим друзьям Елпатьевским Чехов не раз говорил:

— Я не грешен против четвертой заповеди...

И. А. Бунин. Чехов

На самом деле имелась в виду заповедь пятая: "Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе". Вторая ее часть не оправдалась: отец умер 74-летним, а мать, пережив сына на пятнадцать лет, и вовсе 84-летней. Дай Бог ему хотя бы отцовские дни на земле, Чехов увидел бы все революции, индустриализацию, коллективизацию и мог бы вместе с Горьким посидеть в президиуме первого съезда советских писателей или вместо Бунина получить Нобелевскую премию.

Но это предположение вперед. Между тем на примере чеховской семьи история и природа поставили наглядный эксперимент, предсказывающий назад.

Дед — "ярый крепостник" (по чеховскому же определению), но в то же время человек с инстинктом свободы, выкупивший на волю большое семейство за двадцать лет до официальной отмены крепостного права. Появись Антон в этом поколении, мы, скорее всего, не знали бы такого писателя. Его, как Лопахина, не пускали бы дальше передней. И пороли бы его не дома, а — при случае — на конюшне по приказанию графа Черткова, с внуком которого он будет интеллигентно беседовать за одним столом у графа Льва Толстого. О творческих склонностях деда мы ничего не знаем.

Отец не только руководил церковным хором, но и не был чужд словесности. Его простодушный "Мелиховский летописец" можно счесть неким белкинским повествованием. Но обучение грамоте в "с. школе" закрыло ему путь к образованию и подлинной культуре. Хотя, опять же при определенном стечении обстоятельств, он мог бы стать каким-нибудь "литературным самородком" вроде Слепушкина или религиозным проповедником чеховского собеседникавроде Г. Петрова. "Талант у нас от отца", — утверждал Чехов.

От матери же следующее поколение унаследовало "душу" (тоже чеховские слова). Но трудно понять, представляла ли Евгения Яковлевна, ловившая каждый вздох Антоши, то, чем занимается ее сын. Ее письма трогательно-неграмотны. Чтение явно не входило в круг ее привычных занятий.

Все члены следующего поколения чеховской семьи уже получили

настоящее образование, хотя использовали его вовсе не так, как надеялись родители. (Кстати, может ли в современной России, почти через полтора века, семья ниже среднего достатка дать образование шести свои членам?) Здесь вступают в силу уже не общекультурные, а индивидуальные факторы.

Младшие дети, скорее, наследовали организаторскую сторону отцовского таланта. Иван стал образцовым педагогом и на большее, кажется, не претендовал. Михаил был человеком с творческими претензиями: тоже писал для детей и взрослых, переводил, издавал журналы. Но силы, масштабности, уверенности в нем не было. Главной его книгой стали мемуары о брате с характерным окончательным заглавием — "Вокруг Чехова".

Двое старших были очевидно талантливы. Протоирей Петровский, как мы помним, считал, что что-то выйдет лишь из Александра. Талант Николая сразу признали среди московских художников. Но один пил и "шалаберничал", второй пил и жаловался на семью. Можно лишь сожалеть об их незадавшейся судьбе и строить гипотезы о том, что было бы, если…

И не стоит ссылаться на раннюю смерть Николая, Федор Васильев прожил двадцать три года, а не тридцать, как бедный художник, но все-таки остался в истории искусства.

Не зарыть талант в землю удалось только среднему Чехову. Решающим фактором здесь оказались воля, "дневной и ночной труд", сосредоточенное усилие, растянувшееся на целую жизнь.

Формула появления большого писателя проста, но трудновыполнима: данное историей пространство свободы, дар, волевое усилие и лишь в последнюю очередь - стечение обстоятельств, случай, удача, которые завершают сюжет, но не определяют его.

Еще однажды талант вспыхнул в следующем поколении Чеховых. Антон поразительно угадал его в четырехлетнем племяннике, будущем великом актере.

Третьего дня я обедал у Александра. <…> Сын его Миша — удивительный мальчик по интеллигентности. В его глазах блестит нервность. Я думаю, что из него выйдет талантливый человек.

Чехов — М. П. Чеховой, 7 февраля 1895 г. Петербург

Таганрог

Это был город, представлявший собою странную смесь патриархальности с европейской культурою и внешним лоском. <…> В городском театре шла несколько лет подряд итальянская опера с первоклассными певцами, которых негоцианты выписывали из-за границы за свой собственный счет. Примадонн

буквально засыпали цветами и золотом. Щегольские заграничные экипажи, породистые кони, роскошные дамские тысячные туалеты составляли явление обычное. Оркестр в городском саду, составленный из первоклассных музыкантов, исполнял симфонии. Местное кладбище пестрело дорогими мраморными памятниками, выписанными прямо из Италии от лучших скульпторов. В клубе велась крупная игра, и бывали случаи, когда за зелеными столами разыгрывались в какой-нибудь час десятки тысяч рублей. Задавались лукулловские обеды и ужины. Это считалось шиком и проявлением европейской культуры.

В то же время Таганрог щеголял и патриархальностью. Улицы были немощеные. Весною и осенью на них стояла глубокая, невылазная грязь, а летом они покрывались почти сплошь буйно разраставшимся бурьяном, репейником и сорными травами. Освещение на двух главных улицах было более чем скудное, а на остальных его не было и в помине. Обыватели ходили по ночам с собственными ручными фонарями. По субботам по городу ходил с большим веником на плече, наподобие солдатского ружья, банщик и вы-крикивал: “В баню! В баню! В торговую баню!” Арестанты, запряженные в телегу вместо лошадей, провозили на себе через весь город из склада в тюрьму мешки с мукой и крупой для своего пропитания. Они же всенародно и варварски уничтожали на базаре бродячих собак с помощью дубин и крюков. Лошади пожарной команды неустанно возили “воду и воеводу”, а пожарные бочки рассыхались и разваливались от недостатка влаги. Иностранные негоцианты выставляли на вид свое богатство и роскошь, а прочее население с трудом перебивалось, как говорится, с хлеба на квас.

Такова была физиономия тогдашнего Таганрога.

Ал. П. Чехов. В греческой школе

День начинался и заканчивался трудом. Все в доме вставали рано. Мальчики шли в гимназию, возвращались домой, учили уроки, как только выпадал свободный час, каждый из них занимался тем, к чему имел способность: старший, Александр, устраивал электрические батареи, Николай рисовал, Иван переплетал книги, а будущий писатель сочинял... Приходил вечером из лавки отец, и начиналось пение хором: отец любил петь по нотам и приучал к этому и детей. Кроме того, вместе с сыном Николаем он разыгрывал дуэты на скрипке, причем маленькая сестра Маша аккомпанировала на фортепьяно. Мать, вечно занятая, суетилась в это время по хозяйству или обшивала на швейной машинке детей. Всегда заботливая, любвеобильная, она, несмотря на свои тогда еще сравнительно молодые годы, отказывала себе во многом и всю свою жизнь посвящала детям.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

В зрелые годы своей жизни он не раз говаривал в интимном кружке родных и знакомых:

— В детстве у меня не было детства...

Антон Павлович только издали видел счастливых детей, но сам никогда не переживал счастливого, беззаботного и жизнерадостного детства, о котором было бы приятно вспомнить, пересматривая прошлое. Семейный уклад сложился для покойного писателя так неудачно, что он не имел возможности ни побегать, ни порезвиться, ни пошалить. На это не хватало времени, потому что все свое свободное время он должен был проводить в лавке. Кроме того, на всем этом лежал отцовский запрет; бегать нельзя было потому, что “сапоги побьешь”; шалить запрещалось оттого, что “балуются только уличные мальчишки”; играть с товарищами - пустая и вредная забава: “товарищи бог знает чему научат”...

Ал. П. Чехов. Антон Павлович Чехов — лавочник

Будучи уже гимназистом, Антон Чехов очень любил ловить рыбу. На ужение мы ходили в Таганрогскую гавань. Обычно было нас четверо: Чеховы - Антон, Николай, Иван - и я. Ловили мы преимущественно бычков. Антон умел добиваться удачной ловли. Он изобрел специальные поплавки, изображающие человека, у которого руки поднимались и опускались во время ловли рыбы. Это указывало, какого размера рыба попала на крючок. Если человек в воде по пояс, то, значит, попалась небольшая рыбка, если по плечи - то средняя, если с головой и руки подняты вверх, то, значит, крупная рыба и ее нужно вынимать умеючи. В таком случае Антон не доверял нам и вынимал сам. Поплавки он делал из особого дерева, похожего на пробку, которое брал у местных рыбаков.

Отправляясь на рыбную ловлю, мы брали с собой сковородку и все необходимое для стряпни, а иногда Антон захватывал свое любимое сантуринское вино. Такая обстановка рыбной ловли особенно нам нравилась, и мы обставляли дело так, чтобы об этом не пронюхал Павел Егорович.

А. Долженко. Воспоминания родственника об Антоне Павловиче Чехове

Театром Антон Павлович увлекался с самого раннего детства.

Первое, что он видел, была оперетка “Прекрасная Елена”.

Ходили мы в театр обыкновенно вдвоем. Билеты брали на галерку. Места в Таганрогском театре были не нумерованные, и мы с Антоном Павловичем приходили часа за два до начала представления, чтобы захватить первые места.

В коридорах и на лестнице в это время бывало еще темно. Мы

пробирались потихоньку наверх. Как сейчас, помню последнюю лестницу, узкую деревянную, какие бывают при входе на чердак, а в конце ее — двери на галерею, у которых мы, сидя на ступеньках, терпеливо ждали, когда нас наконец впустят. Понемногу набиралась публика.

Наконец гремел замок, дверь распахивалась, и мы с Антоном Павловичем неслись со всех ног, чтобы захватить места в первом ряду. За нами с криками гналась нетерпеливая толпа, и едва мы успевали занять места, как тотчас же остальная публика наваливалась на нас и самым жестоким образом прижимала к барьеру.

До начала все же еще было далеко. Весь театр был совершенно пуст и неосвещен. На всю громадную черную яму горел только один газовый рожок. И, помню, нестерпимо пахло газом.

Задним рядам было трудно стоять без опоры, и они обыкновенно устраивались локтями на наших спинах и плечах. Кроме того, все зрители грызли подсолнухи. Бывало так тесно, что весь вечер так и не удавалось снять шуб.

Но, несмотря на все эти неудобства, в антрактах мы не покидали своих мест, зная, что их тотчас же займут другие.

Когда мы шли в театр, мы не знали, что там будут играть, — мы не имели понятия о том, что такое драма, опера или оперетка, — нам все было одинаково интересно. <...>

Идя из театра, мы всю дорогу, не замечая ни погоды, ни неудобной мостовой, шли по улице и оживленно вспоминали, что делалось в театре.

А на следующий день Антон Павлович все это разыгрывал в лицах.

И. П. Чехов. <Из воспоминаний>

В 1876 году отец окончательно закрыл свою торговлю и, чтобы не сесть в долговую яму, бежал в Москву к двум старшим сыновьям, из которых один был тогда студентом университета, а другой учился в Училище живописи, ваяния и зодчества. За старшего уже официально стал у нас сходить Антон. Я отлично помню это время. Было ужасно жаркое лето; спать в комнатах не было никакой возможности, и потому мы устраивали в садике балаганы, в них и ночевали. Будучи тогда гимназистом пятого класса, Антон спал под кущей посаженного им дикого виноградника и называл себя “Иовом под смоковницей”. Вставали в этих шалашах очень рано, и, взяв с собой меня, Антон шел на базар покупать на целый день харчи. Однажды он купил живую утку и, пока шли домой, всю дорогу теребил ее, чтобы она как можно больше кричала.

— Пускай все знают, — говорил он, — что и мы тоже кушаем уток.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

А потом мы испытали семейную катастрофу: у нас отняли наш дом. <…>

Антоша и Ваня были брошены в Таганроге одни на произвол судьбы. Антоша остался в своем бывшем доме, чтобы оберегать его, пока не войдет в него новый хозяин, а Ваню приютила у себя тетя Марфа Ивановна. Впрочем, Ваню тоже скоро выписали в Москву, и Антон остался в Таганроге один как перст. Ему нужно было кончать курс, он был в седьмом классе гимназии.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

Дом Селиванова пуст и заброшен. Глядеть на него скучно, а иметь его я не согласился бы ни за какие деньги. Дивлюсь: как это мы могли жить в нем?!

Чехов — Чеховым, 7 апреля 1887 г. Таганрог

Совсем Азия! Такая кругом Азия, что я просто глазам не верю. 60 000 жителей занимаются только тем, что едят, пьют, плодятся, а других интересов — никаких... Куда ни явишься, всюду куличи, яйца, сантуринское, грудные ребята, но нигде ни газет, ни книг... Местоположение города прекрасное во всех отношениях, климат великолепный, плодов земных тьма, но жители инертны до чертиков... Все музыкальны, одарены фантазией и остроумием, нервны, чувствительны, но все это пропадает даром... Нет ни патриотов, ни дельцов, ни поэтов, ни даже приличных булочников.

Чехов — Н. А. Лейкину, 7 апреля 1887 г. Таганрог

Многоуважаемый Павел Федорович, чтобы положить начало иностранному отделению библиотеки, я купил всех французских классических писателей и на днях послал в Таганрог. Всего 70 авторов, или 319 томов. Послал я малой скоростью и, для опыта, морем. Если опыт удастся, то будем продолжать.

Чехов — П. Ф. Иорданову, 9 (21) марта 1898 г. Ницца

Если бы не бациллы, то я поселился бы в Таганроге года на два, на три и занялся бы районом Таганрог — Краматоровка — Бахмут — Зверево.

Это фантастический край. Донецкую степь я люблю и когда-то чувствовал себя в ней, как дома, и знал там каждую балочку. Когда я вспоминаю про эти балочки, шахты, Саур-могилу, рассказы про Зуя, Харцыза, генерала Иловайского, вспоминаю, как я ездил на волах в Криничку и в Крепкую графа Платова, то мне становится грустно и жаль, что в Таганроге нет беллетристов и что этот материал, очень милый и ценный, никому не нужен.

Чехов — П. Ф. Иорданову, 25 июня 1898 г. Мелихово

Если бы в Таганроге была вода или если бы я не привык к водопроводу, то переехал бы на житье в Таганрог. Здесь в Ялте томительно скучно, от Москвы далеко, и трудно ходить пешком, так как, куда ни пойдешь, везде горы. Когда в Таганроге устроится водопровод, тогда я продам ялтинский дом и куплю себе какое-нибудь логовище на Большой или Греческой улице.

Чехов — П. Ф. Иорданову, 11 мая 1902 г. Ялта

.

Войну за чеховское детство, его образ, который должен утвердиться в истории, начали уже члены чеховского семейства. Михаил и Мария обвиняли старшего брата-мемуариста в сгущении красок и рисовали картину дружной, работящей семьи, теплой колыбели будущего таланта.

Соответственно, меняется и облик города. То это — глухая провинция, чистая Азия, где нет "ни патриотов, ни дельцов, ни поэтов, ни даже приличных булочников", то какой-либо европейский город-государство вроде греческого полиса или итальянской республики.

Созданная сотрудниками чеховского музея подробная летопись "Таганрог и Чеховы" (2003) позволяет доказать обе гипотезы. Город живет сложной собственной жизнью на фоне заплутавшей в бездорожье восьмидесятых годов Российской империи: разоряются и торгуют купцы; получают награды, умирают, преследуют гимназистов преподаватели; в городском саду француз летает на воздушном шаре (героиня последней пьесы увидит его лишь в Париже); раскрывают подпольный кружок, все подвиги которого, видимо, заключались в чтении запрещенной литературы; начинается русско-турецкая война, и город находит своих добровольцев.

В воспроизведении семейной атмосферы Александр все-таки был точнее, чем младшие. Он опирался на недвусмысленные оценки Антона Павловича как раз в письмах ему. Но и эти оценки тоже результат позднейшего осознания.

Детство живет по особому календарю. Оно невозможно без воспоминаний о рождественской елке, без надежды на будущее, без письма на деревню дедушке, которое обязательно должно дойти.

На фоне городской жизни и семейных проблем лавочник и гимназист Чехонь-Чехонте движется по своей траектории: ловит щеглов, тайком пробирается в театр, дает уроки, влюбляется, распродает вещи уехавшей семьи, что-то пытается писать и представлять.

А есть еще и то, о чем он молчит или проговаривается изредка.

Детство у Чехова все-таки было: море, степь, театр — то

минимальное пространство свободы, которого лишена героиня самого безнадежного его рассказа, “Спать хочется”.

И какой бы Азией ни казался позднее ему родной город, память о стипендии на обучение и просто память сердца он сохранил навсегда и долг отработал сполна. Бесконечно пополняемая библиотека, переговоры со скульптором Антокольским о памятнике Петру, мечты о музее и картинной галерее, попечительские советы, помощь то сиротскому приюту, то тюрьме. Даже в письме-завещании он позаботился не только о родных, но также о народном образовании.

Он был не грешен не только против четвертой (пятой) заповеди, но и против непроизнесенной клятвы верности “малой родине”.

Ах, если бы в Таганроге еще была вода!

Гимназия

Я вырос в Таганроге и учился в таганрогской гимназии почти одновременно с Антоном Павловичем Чеховым. Он был старше меня одним классом, но я и теперь помню его гимназистом. Он был “основник”, а я “параллельник” (то есть один учился в классе “А”, другой — в классе “Б”). Он выглядел букой и все ходил по коридору мимо нашего класса, а мы прятались за дверью и дразнили его чехонью.

В. Г. Тан. На родине Чехова

Антон Павлович решительно ничем не выделялся в нашей гимназической среде. Учился он со средним успехом, казался скромным, сосредоточенным, застенчивым, не любил шумных игр. Некоторые из нас усиленно занимались гимнастикой, другие увлекались игрой в лапту, требовавшей силы и ловкости... Такого рода упражнения Антона Павловича не привлекали. Зато в тихом кругу товарищей он любил побеседовать и давал изредка картинки, полные юмора.

Помню его передачу о том, как старенький батюшка — неважный оратор, — исполняя предписание владыки, произнес в церкви проповедь “о падении добрых нравов в населении”.

Антон Павлович был прекрасный имитатор, и мы от души хохотали, слушая дребезжащий старческий тенорок батюшки, своеобразные обороты речи и оригинальные выводы.

Л. Волькенштейн. Сами себя воспитали

Кончили мы таганрогскую гимназию в 1879 году. Учился Чехов неважно и из двадцати трех учеников выпускного класса занимал одиннадцатое место. За сочинения по русскому языку дальше тройки не шел, но всегда отличался в латыни и законе божьем, получая за них пятерки. Знал массу славянских текстов и в товарищеских беседах увлекал нас рассказами, пересыпанными

славянскими изречениями, из которых многие я впоследствии встречал в некоторых из его первых литературных произведений. Несмотря на свои средние успехи, Антон Павлович пользовался особым вниманием нашего учителя русского языка Мальцева и директора гимназии, общего любимца Рейтлингера.

Товарищи, все без исключения, любили Чехова, хотя ни с кем из нас он особенно не сближался. Со всеми он был искренен, добр, прост и сердечен, но никто из нас исключительной дружбой его похвалиться не мог. Несмотря на общее к себе расположение, Чехов все-таки производил впечатление человека, ушедшего в себя. Никого он не чуждался, не избегал, но от товарищеских пирушек уклонялся и в свойственных школьному возрасту шалостях не участвовал. Всем была известна его исключительная склонность к чтению беллетристических произведений, которому он отдавал все свои досуги.

О домашней жизни Чехова мы почти ничего не знали. Все почему-то считали его принадлежащим к духовному званию. Это, вероятно, благодаря его слабости к славян-ским текстам, которые он часто декламировал в гимназии, и знанию многих изречений из священной истории.

По обычаю, существующему всюду в школах, Чехова товарищи прозвали “головастиком”. У него была большая голова, не соответствовавшая его небольшой фигуре.

М. Кукушкин. Из воспоминаний об А. П. Чехове

Как я упомянул, дядя Митрофан был церковным старостой, и по своему характеру и по должности он любил принимать у себя духовенство. Желанным гостем у него был всегда протоиерей Ф. П. Покровский. Это был своеобразный священник. Красавец собой, светский, любивший щегольнуть и своей ученостью, и своей нарядной рясой, он обладал превосходным сильным баритоном и готовил себя ранее в оперные певцы. Но та обстановка, в которой он жил, помешала развить его дарование, и ему пришлось ограничиться местом настоятеля Таганрогского собора. Но и здесь он держал себя, как артист. Он эффектно служил и пел в алтаре так, что его голос покрывал собой пение хора и отдавался во всех закоулках обширного собора. Слушая его, действительно казалось, что находишься в опере. Он был законоучителем в местной гимназии. Нас тогда училось в ней пять братьев; я — в первом классе, брат Антон — в пятом. Никто из нас никогда не слышал от Покровского вопросов. Он вызывал, углублялся в газету, не слушал, что отвечал ему ученик, и ставил стереотипное “три”. Свою нелюбовь к нашему отцу за его религиозный формализм он перенес на нас, его сыновей. Уже будучи взрослым, брат Антон рассказывал не раз, как Покровский

в разговоре с нашей матерью, в присутствии его, Антона, высказал такое мнение:

— Из ваших детей, Евгения Яковлевна, не выйдет ровно ничего. Разве только из одного старшего, Александра.

Он любил давать своим ученикам насмешливые имена. Между прочим, это он, Покровский, первым назвал Антона Чехова “Антошей Чехонте”, чем и воспользовался писатель для своего псевдонима...

Уже будучи известным писателем, брат Антон вместе с петербургским адвокатом Коломниным, тоже окончившим курс в таганрогской гимназии, послал протоиерею Покровскому в подарок серебряный подстаканник.

Протоиерей, в умилении от подстаканника, благодарил брата Антона и просил вы-слать ему свои сочинения. <…>

Антон Павлович распорядился о высылке ему “Пестрых рассказов”, на заглавном листе которых стояло: “А. Чехонте”.

Предсказание старика, таким образом, не сбылось. Из Антона все-таки вышел толк, но выдуманный Покровским псевдоним стал достоянием русской литературы.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

Москва

У нас в Таганроге нет ничего нового, решительно ничего! Смертельная скука! Был я недавно в таганрогском театре и сравнил этот театр с вашим московским. Большая разница! И между Москвой и Таганрогом большая разница. Если только кончу гимназию, то прилечу в Москву на крыльях, она мне очень понравилась!

Чехов — М. М. Чехову, 4 ноября 1877 г. Таганрог

Первые годы в Москве Чеховы жили бедно. Отец служил приказчиком у галантерейщика Гаврилова, Михаил Павлович и Мария Павловна учились еще в гимназии. Мы с женой часто бывали тогда у Чеховых, — они жили в маленькой квартире в Головином переулке, на Сретенке. Веселые это были вечера! Все, начиная с ужина, на который подавался почти всегда знаменитый таганрогский картофельный салат с зеленым луком и маслинами, выглядело очень скромно, ни карт, ни танцев никогда не бывало, но все было проникнуто какой-то особой теплотой, сердечностью и радушием. Чуть что похвалишь — на дорогу обязательно завернут в пакет, и отказываться нельзя. Как-то раз в пасхальные дни подали у Чеховых огромную пасху, и жена моя удивилась красоте формы и рисунка. И вот когда мы собрались уходить, вручили нам большой, тяжелый сверток, который велели развернуть только дома. Оказалось, в свертке — великолепная старинная дубовая пасочница.

В. А. Гиляровский. Жизнерадостные люди

Антон Павлович Чехов приехал в Москву — совсем, навсегда приехал. Быть может, правильнее сказать: вернулся в Москву — в ту Москву, из которой уехал помимо воли, из-за болезни, и куда так неудержимо стремился все те семь-восемь лет, которые он прожил на моих глазах в Ялте, в ту Москву, которая занимала все его мысли, была для него воистину обетованною землей, в которой сосредоточивалось все то, что было в России самого хорошего, приятного, милого для Чехова. Я видал саратовских патриотов, полтавских, сибирских, но такого влюбленного в свое место, как был влюблен Антон Павлович в Москву, я редко встречал. Это было немножко смешно и немножко трогательно, — более трогательно, чем смешно.

Вот один из многих наших разговоров. Антон Павлович собирается в Москву; я боюсь за него, всеми силами отговариваю его и представляю свои аргументы.

— Ведь теперь март месяц, Антон Павлович, — самое отвратительное время в Москве. Все хляби московские разверзнуты.

Я напоминаю ему, что такое московские хляби, и убеждаю, что и самое слово “хляби” выдумано в Москве и специально для Москвы.

Он сердится, и начинает ругать Ялту, и говорит, что ялтинские хляби хуже московских. И видно, что ему не терпится, что ему страстно хочется уехать в Москву.

Я начинаю говорить про московскую вонь, про весь нелепый уклад московской жизни, московские мостовые, кривули узеньких переулков, знаменитые тупики, эти удивительные Бабьи Городки, Зацепы, Плющихи, Самотеки, — и чем больше неприятностей говорю я по адресу Москвы, тем веселей и приятнее становится хмурое лицо Антона Павловича, тем чаще смеется он своим коротким чеховским смешком. И видно, что и Самотека, и Плющиха, и даже скверные московские мостовые, и даже мартовская грязь, и серые мглистые дни — что все это ему очень мило и наполняет его душу самыми приятными ощущениями.

Запас сведений о Москве у нас обоих обширен: мы оба учились в Московском университете. Чехов вдохновляется и говорит:

— А помните?..

И начинает вспоминать знаменитые пирожки “с лучком, перцем, с собачьим сердцем”, которые готовились в грязном переулке на Моховой, кажется, специально для нас, студентов-медиков, работавших в анатомическом театре и химической лаборатории; вспоминает любезные Патриаршие пруды и

миловидные Бронные и Козицкие переулки, и морщины мелкими складками собираются вокруг глаз на похудевшем лице, и смеется он веселым, громким, радостным смехом, каким редко смеялся покойный Антон Павлович. И он, умный человек, мог говорить удивительно несообразные слова, когда разговор шел о Москве. Раз, когда я отговаривал его ехать в Москву в октябре, он стал уверять совершенно серьезно, без иронии в голосе, что именно московский воздух в особенности хорош и живителен для его туберкулезных легких, и, притягивая науку в доказательство, говорил, что нам, врачам, не следует быть рутинерами и упираться в стену и что октябрьская москов-ская непогодь может быть даже полезна для некоторых больных легких. Нечего и говорить о Московской губернии и об окрестностях Москвы, — нужно было видеть, с каким восторгом и торжеством над моим неверием и непониманием рассказывал он мне, возвратившись как-то из летней поездки в Московскую губернию, как часами ловил он там (572) пескарей и окуней, как великолепно отхаркивал мокроту, какой развился у него аппетит и как прибыл он там в весе что-то около восьми фунтов за лето.

И все было мило для него в Москве — и люди, и улицы, и звон разных Никол Мокрых и Никол на Щепах, и классический московский извозчик, и вся московская бестолочь. Отдышится он от Москвы и от московского плеврита, проживет в Ялте два-три месяца — и снова разговоры все о Москве. И все три сестры, повторяющие на разные лады: “В Москву, в Москву”, — это все он же, один Антон Павлович, думавший вечно о Москве и постоянно стремившийся в Москву, где постоянно получал он плевриты и обострения процесса и которая, имею основание думать, укоротила ему жизнь.

С. Я. Елпатьевский. Антон Павлович Чехов

Университет

1879 год для медицинского факультета Московского университета ознаменовался большим наплывом молодежи, в том числе и из самых отдаленных уголков России; на первый курс поступило около 450 студентов, и в числе их нас, четверо одесситов, и трое из таганрогской гимназии, среди последних был и А. П. Чехов <…>

Несмотря на рано обнаружившийся у него уклон в сторону писательства, он тем не менее оставался прилежным студентом, хотя и довольно пассивным по отношению к увлечению общественной работой или медицинской специальностью. Он аккуратно посещал лекции и практические занятия, нигде, однако, не выдвигаясь вперед. Если бывал на сходках, то скорее в качестве зрителя, на втором курсе, в 1880/81 академическом

году, в бурные времена, предшествовавшие и последовавшие за событием 1 марта 1881 года (убийством Александра II), он оставался в рядах большинства студентов курса, неиндифферентных, хотя и неактивных революционеров.

Г. И. Россолимо. Воспоминания о Чехове

Уже из рассказов самого Чехова ясно, какой материал о нем могли дать его товарищи по университету. <…> Как раз в последние годы судьба сводила меня с товарищами Чехова по университету, но кроме того, что Чехов ходил на лекции аккуратно и садился где-то “близ окошка”, мне от них ничего не пришлось услыхать. Они не могли дать ни одной характерной бытовой черты.

А. С. Лазарев-Грузинский. А. П. Чехов

Медицина

Вы советуете мне не гоняться за двумя зайцами и не помышлять о занятиях медициной. Я не знаю, почему нельзя гнаться за двумя зайцами даже в буквальном значении этих слов? Были бы гончие, а гнаться можно. Гончих у меня, по всей вероятности, нет (теперь в переносном смысле), но я чувствую себя бодрее и довольнее собой, когда сознаю, что у меня два дела, а не одно… Медицина — моя законная жена, а литература — любовница. Когда надоедает одна, я ночую у другой. Это хотя и беспорядочно, но зато не так скучно, да и к тому же от моего вероломства обе решительно ничего не теряют. Не будь у меня медицины, то я свой досуг и свои лишние мысли едва ли отдавал бы литературе. Во мне нет дисциплины.

Чехов — А. С. Суворину, 11 сентября 1888 г. Москва

Ну-с, я жив и здрав. Лето было прекрасное, сухое, теплое, изобильное плодами земными, но вся прелесть его, начиная с июля, вконец была испорчена известиями о холере. В то время, как Вы в своих письмах приглашали меня то в Вену, то в Аббацию, я уже состоял участковым врачом Серпуховского земства, ловил за хвост холеру и на всех парах организовал новый участок. У меня в участке 25 деревень, 4 фабрики и 1 монастырь. Утром приемка больных, а после утра разъезды. Езжу, читаю лекции печенегам, лечу, сержусь и, так как земство не дало мне на организацию пунктов ни копейки, клянчу у богатых людей то того, то другого. Оказался я превосходным нищим; благодаря моему нищенскому красноречию мой участок имеет теперь 2 превосходных барака со всею обстановкой и бараков пять не превосходных, а скверных. Я избавил земство даже от расходов по дезинфекции. Известь, купорос и всякую пахучую дрянь я выпросил у фабрикантов на все свои 25 деревень. Одним словом,

А. П. Коломнин должен гордиться, что учился в той же гимназии, где и я. Душа моя утомлена. Скучно. Не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холеру и ждать только холеры и в то же время быть совершенно равнодушным к сей болезни и к тем людям, которым служишь,— это, сударь мой, такая окрошка, от которой не поздоровится. Холера уже в Москве и в Московск <ом> уезде. Надо ждать ее с часу на час. Судя по ходу ее в Москве, надо думать, что она уже вырождается и что запятая начинает терять свою силу. Надо также думать, что она сильно поддается мерам, которые приняты в Москве и у нас. Интеллигенция работает шибко, не щадя ни живота, ни денег; я вижу ее каждый день и умиляюсь, и, когда при этом вспоминаю, как Житель и Буренин выливали свои желчные кислоты на эту интеллигенцию, мне делается немножко душно. В Нижнем врачи и вообще культурные люди делали чудеса. Я ужасался от восторга, читая про холеру. В доброе старое время, когда заболевали и умирали тысячами, не могли и мечтать о тех поразительных победах, какие совершаются теперь на наших глазах. Жаль, что Вы не врач и не можете разделить со мной удовольствия, т. е. достаточно прочувствовать, и сознать, и оценить все, что делается.

Чехов — А. С. Суворину, 16 августа 1892 г. Мелихово

В последнее время мною овладело легкомыслие, и рядом с этим меня тянет к людям, как никогда, и литература стала моей Ависагой <девушка-девственница, согревавшая в постели библейского царя Давида> , и я до такой степени привязался к ней, что стал презирать медицину. Но в литературе я люблю не те романы и повести, которые Вы ждете или перестали ждать от меня, а то, что я в продолжение многих часов могу читать, лежа на диване. Для писанья же у меня не хватает страсти.

Чехов — А. С. Суворину, 11 ноября 1893 г. Мелихово

Начало

Брат Антон получал свою стипендию из Таганрога не ежемесячно, а по третям, сразу по сто рублей. Это не облегчало его стесненных обстоятельств, так как полученной суммой сразу же погашались долги, нужно было купить пальто, внести плату в университет и так далее, и на другой день на руках не оставалось ничего. Я помню, как он в первый раз получил такую сумму и накупил разных юмористических журналов, в числе которых была и “Стрекоза”. Затем он что-то написал туда и стал покупать “Стрекозу” у газетчика уже каждую неделю, с нетерпением ожидая в “Почтовом ящике” этого журнала ответа на свое письмо.

Это было зимой, и я помню, как озябшими пальцами Антон перелистывал купленный им по дороге из университета номер этого журнала. Наконец появился ответ: “Совсем не дурно, благословляем и на дальнейшее сподвижничество”. Затем, в марте 1880 года, в № 10 “Стрекозы”, появилось в печати первое произведение Антона Чехова, и с тех пор началась его непрерывная литературная деятельность. Произведение его называлось в рукописи “Письмо к ученому соседу” и представляло собою в письменной форме тот материал, с которым он выступал по вечерам у нас в семье, когда приходили гости и он представлял перед ними захудалого профессора, читавшего перед публикой лекцию о своих открытиях. Это появление в печати первой статьи брата Антона было большой радостью в нашей семье.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

В сем году ты получаешь в дар от меня лучший из юморист<ических> журналов, “Осколки”, в коих работаю. Что это лучший журнал, ты убедишься. Имя мое в нем: Человек без с<елезенки>, Крапива и т. д.

Чехов — Ал. П. Чехову, 4–5 января 1883 г. Москва

Газетчик значит, по меньшей мере, жулик, в чем ты и сам не раз убеждался. Я в ихней компании, работаю с ними, рукопожимаю и, говорят, издали стал походить на жулика. Скорблю и надеюсь, что рано или поздно изолирую себя <...> Я газетчик, потому что много пишу, но это временно... Оным не умру. Коли буду писать, то непременно издалека, из щелочки...

Чехов — А. П. Чехову, 13 мая 1883 г. Москва

— В одном отношении вы все должны быть мне благодарны, — говорил он молодым писателям. — Это я открыл путь для авторов мелких рассказов. Прежде, бывало, принесешь в редакцию рукопись, так ее даже читать не хотят. Только посмотрят с пренебрежением. “Что? Это называется — произведением? Да ведь это короче воробьиного носа. Нет, нам таких штучек не надо”. А я вот добился и другим указал дорогу. Да это еще что, так ли со мной обращались! Имя мое сделали нарицательным. Так и острили, бывало: “Эх вы, Че-хо-вы!” Должно быть, это было смешно.

А. И. Куприн. Памяти Чехова

Почитываю Вас и вспоминаю былое, и когда на пути своем встречаю какого-нибудь юного юмориста, то читаю ему “Бородино” и говорю: “Богатыри не вы!” Мы с Вами когда-то были очень либеральны, но меня почему-то считали консерватором. Недавно я взглянул в старые “Осколки”, уже наполовину забытые, и удивился задору, какой сидел тогда в Вас и во мне и какого нет

теперь ни у одного из новейших гениев.

Чехов — В. В. Билибину, 18 января 1895 г. Москва

Работа

По его словам, он начинал литературную работу почти шутя, смотрел на нее частью как на наслаждение и забаву, частью же как на средство для окончания университетского курса и содержания семьи.

— Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?.. Вот.

Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь, — это оказалась пепельница, — поставил ее передо мною и сказал:

— Хотите — завтра будет рассказ... Заглавие “Пепельница”.

И глаза его засветились весельем. Казалось, над пепельницей начинают уже роиться какие-то неопределенные образы, положения, приключения, еще не нашедшие своих форм, но уже с готовым юмористическим настроением...

В. Г. Короленко. Антон Павлович Чехов

Образы теснились к нему веселой и легкой гурьбой, забавляя, но редко волнуя... Они наполняли уютную квартирку и, казалось, приходили в гости зараз ко всей семье. Сестра Антона Павловича рассказывала мне, что брат, комната которого отделялась от ее спальной тонкой перегородкой, часто стучал к ней ночью в стенку, чтобы поделиться темой, а иной раз готовым уже рассказом, внезапно возникшим в голове. И оба удивлялись и радовались неожиданным комбинациям... Но теперь в этом беззаботном настроении происходила заметная перемена: и сам Антон Павлович, и его семья не могли не заметить, что в руках Антоши не просто забавная и отчасти полезная для семьи игрушка, а великая драгоценность, обладание которой может оказаться очень ответственным.

В. Г. Короленко. Антон Павлович Чехов

Художественная память его была невероятна. Чувствовалось, что он наблюдает постоянно и ненасытно; как фотографические аппараты, его органы чувств мгновенно закрепляли в памяти редкие сцены, выражения, факты, разговоры, краски, звуки, запахи. Нередко в разговоре он вынимал маленькую записную книжку и что-то отмечал: “Это нужно запомнить”. Работал он с тщательностью ювелира. Его черновик я принял однажды за нотный лист, - до такой степени часты были зачеркнутые жирно места. Он кропотливо отделывал свой чудный слог и любил, чтобы было “густо” написано: немного, но многое. У него было множество набросков и черновиков; выпросить у него что-нибудь для журнала было не так легко. “Будь я миллионер, — говаривал он, — я бы писал вещи только с ладонь величиной”.

М. О. Меньшиков. Памяти А. П. Чехова

Мировоззрение

Его упрекали в отсутствии миросозерцания. Нелепый упрек! Миросозерцание в широком смысле слова есть нечто необходимо свойственное человеку, потому что оно есть личное представление человека о мире и о своей роли в нем.

В этом смысле оно свойственно даже таракану, что и подтверждается тем, что большинство из нас обладает именно тараканьим миросозерцанием, то есть сидит всю жизнь в теплом месте, шевелит усами, ест хлеб и распложает таракашков.

У Чехова есть нечто большее, чем миросозерцание, — он овладел своим представлением жизни и таким образом стал выше ее. Он освещает ее скуку, ее нелепости, ее стремления, весь ее хаос с высшей точки зрения. И хотя эта точка зрения неуловима, не поддается определению — быть может, потому, что высока, — но она всегда чувствовалась в его рассказах и все ярче пробивается в них. Всё чаще слышится в его рассказах грустный, но тяжелый и меткий упрек людям за их неуменье жить, все красивее светит в них сострадание к людям и — это главное! — звучит что-то простое, сильное, примиряющее всех и вся. Его скорбь о людях очеловечивает и сыщика, и грабителя-лавочника, всех, кого она коснется: “Понять — значит простить” — это давно сказано, и это сказано верно. Чехов понимает и говорит — простите! И еще говорит — помогите! Помогите жить людям, помогайте друг другу!..

М Горький. По поводу нового рассказа А. П. Чехова “В овраге”

Я боюсь тех, кто между строк ищет тенденции и кто хочет видеть меня непременно либералом или консерватором. Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист. Я хотел бы быть свободным художником и — только, и жалею, что бог не дал мне силы, чтобы быть им. Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах, и мне одинаково противны как секретари консисторий, так и Нотович с Градовским. Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних только купеческих домах и кутузках; я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи... Потому я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи. Фирму и ярлык я считаю предрассудком. Мое святая святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником.

Чехов — А. Н. Плещееву, 4 октября 1888 г. Москва

Черт бы побрал философию великих мира сего! Все великие мудрецы деспотичны, как генералы, и невежливы и неделикатны, как генералы, потому что уверены в безнаказанности. Диоген плевал в бороды, зная, что ему за это ничего не будет; Толстой ругает докторов мерзавцами и невежничает с великими вопросами, потому что он тот же Диоген, которого в участок не поведешь и в газетах не выругаешь. Итак, к черту философию великих мира сего! Она вся, со всеми юродивыми послесловиями и письмами к губернаторше, не стоит одной кобылки из "Холстомера".

Чехов — А. С. Суворину, 8 сентября 1891 г. Москва

В общем я здоров, болен в некоторых частностях. Например, кашель, перебои сердца, геморрой. Как-то перебои сердца у меня продолжались 6 дней, непрерывно, и ощущение все время было отвратительное. После того, как я совершенно бросил курить, у меня уже не бывает мрачного и тревожного настроения. Быть может, оттого, что я не курю, толстовская мораль перестала меня трогать, в глубине души я отношусь к ней недружелюбно, и это, конечно, несправедливо. Во мне течет мужицкая кровь, и меня не удивишь мужицкими добродетелями. Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать, так как разница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная. Я любил умных людей, нервность, вежливость, остроумие, а к тому, что люди ковыряли мозоли и что их портянки издавали удушливый запах, я относился так же безразлично, как к тому, что барышни по утрам ходят в папильотках. Но толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6–7, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что-то протестует; расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса. Война — зло, и суд — зло, но из этого не следует, что я должен ходить в лаптях и спать на печи вместе с работником и его женой и проч. и проч. Но дело не в этом, не в "за и против", а в том, что так или иначе, а для меня Толстой уже уплыл, его в душе моей нет, и он вышел из меня, сказав: се оставляю дом ваш пуст. Я свободен от постоя. Рассуждения всякие мне надоели, а таких свистунов, как Макс Нордау, я читаю просто с отвращением.

Лихорадящим больным есть не хочется, но чего-то хочется, и они это свое неопределенное желание выражают так: "чего-нибудь кисленького". Так и мне хочется чего-то кисленького. И это не случайно, так как точно такое же настроение я замечаю

кругом. Похоже, будто все были влюблены, разлюбили теперь и ищут новых увлечений. Очень возможно и очень похоже на то, что русские люди опять переживут увлечение естественными науками и опять материалистическое движение будет модным. Естественные науки делают теперь чудеса, и они могут двинуться, как Мамай, на публику и покорить ее своею массою, грандиозностью. Впрочем, все сие в руце Божией. А зафилософствуй — ум вскружится.

Чехов — А. С. Суворину, 27 марта 1894 г. Ялта

Скажи матери, что как бы ни вели себя собаки и самовары, все равно после лета должна быть зима, после молодости старость, за счастьем несчастье и наоборот; человек не может быть всю жизнь здоров и весел, его всегда ожидают потери, он не может уберечься от смерти, хотя бы был Александром Македонским, — и надо быть ко всему готовым и ко всему относиться как к неизбежно необходимому, как это ни грустно. Надо только по мере сил исполнять свой долг — и больше ничего.

Чехов — М. П. Чеховой, 13 ноября 1898 г. Ялта

Не гувернер, а вся интеллигенция виновата, вся, сударь мой. Пока это еще студенты и курсистки — это честный, хороший народ, это надежда наша, это будущее России, но стоит только студентам и курсисткам выйти самостоятельно на дорогу, стать взрослыми, как и надежда наша и будущее России обращается в дым, и остаются на фильтре одни доктора-дачевладельцы, несытые чиновники, ворующие инженеры. Вспомните, что Катков, Победоносцев, Вышнеградский — это питомцы университетов, это наши профессора, отнюдь не бурбоны, а профессора, светила... Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр. Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям — интеллигенты они или мужики, — в них сила, хотя их и мало. Несть праведен пророк в отечестве своем; и отдельные личности, о которых я говорю, играют незаметную роль в обществе, они не доминируют, но работа их видна; что бы там ни было, наука все подвигается вперед и вперед, общественное самосознание нарастает, нравственные вопросы начинают приобретать беспокойный характер и т. д., и т. д. — и все это делается помимо прокуроров, инженеров, гувернеров, помимо интеллигенции en masse и несмотря ни на что.

Чехов — И. И. Орлову, 22 февраля 1899 г. Ялта

Ты спрашиваешь, что такое жизнь? Это все равно что спросить: что такое морковка? Морковка есть морковка, и больше

ничего не известно.

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой, 20 апреля 1904 г. Ялта

Если нет общей идеи, Бога живого человека, не стоит тешить себя иллюзиями и прикрываться лохмотьями чужих верований.

Если Бога нет, надо жить так, будто он есть.

Быт

...Судьба на этот раз против меня! Пишу при самых гнусных условиях. Передо мной моя не литературная работа, хлопающая немилосердно по совести, в соседней комнате кричит детиныш приехавшего погостить родича, в другой комнате отец читает матери вслух “Запечатленного ангела”... Кто-то завел шкатулку, и я слышу “Елену Прекрасную”... Хочется удрать на дачу, но уже час ночи... Для пишущего человека гнусней этой обстановки и придумать трудно что-либо другое. Постель моя занята приехавшим сродственником, который то и дело подходит ко мне и заводит речь о медицине. <...> Кому надоело толковать про медицину, тот заводит речь про литературу... Обстановка бесподобная. Браню себя, что не удрал на дачу, где, наверное, и выспался бы, и рассказ бы Вам написал, а главное — медицина и литература были бы оставлены в покое.

Чехов — Н. А. Лейкину, между 21 и 24 августа 1883 г. Москва

Я еду в Ялту и положительно не знаю, зачем я туда еду. Надо ехать и в Тироль, и в Константинополь, и в Сумы: все страны света перепутались у меня в голове, фантазия кишмя кишит городами, и я не знаю, на чем остановить свой выбор. А тут еще лень, нежелание ехать куда бы то ни было, равнодушие и банкротство... Живу машинально, не рассуждая.

Из Одессы выехал я не в понедельник, как обещал, а в субботу. Совсем было уж уложился, заплатил по счету, но пошел на репетицию проститься — и там меня удержали. Один взял шляпу, другая палку, а все вместе упрашивали меня так единодушно и искренно, что не устояла бы даже скала; пришлось остаться. Без тебя жил я почти так же, как и при тебе. Вставал в 8–9 часов и шел с Правдиным купаться. В купальне мне чистили башмаки, к<ото>рые у меня, кстати сказать, новые. Душ, струя... Потом кофе в буфете, что на берегу около каменной лестницы. В 12 ч. брал я Панову и вместе с ней шел к Замбрини есть мороженое (60 коп.), шлялся за нею к модисткам, в магазины за кружевами и проч. Жара, конечно, несосветимая. В 2 ехал к Сергеенко, потом к Ольге Ивановне борща и соуса ради. В 5 у Каратыгиной чай, к<ото>рый всегда проходил особенно шумно и весело; в 8, кончив пить чай, шли в театр. Кулисы. Лечение кашляющих актрис и составление планов на завтрашний день. Встревоженная Лика, боящаяся расходов; Панова, ищущая своими

черными глазами тех, кто ей нужен;

Гамлет-Сашечка, тоскующий и изрыгающий громы; толстый Греков, всегда спящий и вечно жалующийся на утомление; его жена — дохленькая барыня, умоляющая, чтоб я не ехал из Одессы; хорошенькая горничная Анюта в красной кофточке, отворяющая нам дверь, и т. д. и т. д. После спектакля рюмка водки внизу в буфете и потом вино в погребке — это в ожидании, когда актрисы сойдутся у Каратыгиной пить чай. Пьем опять чай, пьем долго, часов до двух, и мелем языками всякую чертовщину. В 2 провожаю Панову до ее номера и иду к себе, где застаю Грекова. С ним пью вино и толкую о Донской области (он казак) и о сцене. Этак до рассвета. Затем шарманка снова заводилась, и начиналась вчерашняя музыка. Все время я, подобно Петровскому, тяготел к женскому обществу, обабился окончательно, чуть юбок не носил, и не проходило дня, чтоб добродетельная Лика с значительной миной не рассказывала мне, как Медведева боялась отпустить Панову на гастроли и как m-me Правдина (тоже добродетельная, но очень скверная особа) сплетничает на весь свет и на нее, Лику, якобы потворствующую греху.

Прощание вчера вышло трогательное. Насилу отпустили. Поднесли мне два галстуха на память и проводили на пароход. Я привык, и ко мне так привыкли, что в самом деле грустно было расставаться.

Чехов — И. П. Чехову, 16 июля 1889 г.

Пароход “Ольга” (по пути из Одессы в Ялту)

Я жив и здрав. Кашель против прежнего стал сильнее, но думаю, что до чахотки еще очень далеко. Курение свел до одной сигары в сутки. Летом безвыездно сидел на одном месте, лечил, ездил к больным, ожидал холеры... Принял 1000 больных, потерял много времени, но холеры не было. Ничего не писал, а все гулял в свободное от медицины время, читал или приводил в порядок свой громоздкий “Сахалин”. Третьего дня я вернулся из Москвы, где прожил две недели в каком-то чаду. Оттого, что жизнь моя в Москве состояла из сплошного ряда пиршеств и новых знакомств, меня продразнили Авеланом <русский адмирал, которого в 1893 г. бурно чествовали в России и Франции>. Никогда раньше я не чувствовал себя таким свободным. Во-первых, квартиры нет — могу жить где угодно, во-вторых, паспорта все еще нет и... девицы, девицы, девицы... Все лето меня томило безденежье, я изнывал, теперь же, когда расходы стали меньше, я успокоился. Чувствую свободу от денег, т. е. мне начинает казаться, что больше 2 тысяч в год мне уже не нужно и я могу писать и не писать.

Чехов — А. С. Суворину, 11 ноября 1893 г. Мелихово

Живу я не в городе, потому что жизнь в деревне обходится мне вдвое дешевле; и к тому же здесь не так скучно, праздно, одиноко и тесно, как в городе. Здесь у меня и свой сад, и лес, и собаки, и свои лошади, здесь, когда выйдешь за ворота, горизонт видно.

Чехов — К. А. Каратыгиной, 16 февраля 1894 г. Мелихово

Крымский зимний день, серый, прохладный, сонные густые облака на Яйле. В чеховском доме тихо, мерный стук будильника из комнаты Евгении Яковлевны. Он, без пенсне, сидит в кабинете за письменным столом, не спеша, аккуратно записывает что-то. Потом встает, надевает пальто, шляпу, кожаные мелкие калоши, уходит куда-то, где стоит мышеловка. Возвращается, держа за кончик хвоста живую мышь, выходит на крыльцо, медленно проходит сад вплоть до ограды, за которой татарское кладбище на каменистом бугре. Осторожно бросает туда мышь и, внимательно оглядывая молодые деревца, идет к скамеечке среди сада. За ним бежит журавль, две собачонки. Сев, он осторожно играет тросточкой с одной из них, упавшей у его ног на спину, усмехается: блохи ползут по розовому брюшку... Потом, прислонясь к скамье, смотрит вдаль, на Яйлу, подняв лицо, что-то думая. Сидит так час, полтора...

И. А. Бунин. Чехов

Лейкин

Поэт Л. И. Пальмин сыграл в литературной судьбе Антона Чехова очень большую роль, хотя это и вышло совсем случайно. Он пописывал стишки в петербургских “Осколках”, которые издавал известный юморист Н. А. Лейкин. В один из своих приездов в Москву Лейкин затащил Пальмина обедать в ресторан Тестова, и когда оба они ехали оттуда на извозчике, Пальмин увидал шедших по тротуару двух моих братьев, Николая и Антона, и указал на них Лейкину:

— Вот идут два талантливых брата: один из них — художник, а другой — литератор. Сотрудничают в здешних юмористических журналах.

Лейкин остановил извозчика. Пальмин окликнул моих братьев, и они познакомились с Лейкиным, который тут же пригласил Антона сотрудничать в его “Осколках”. Так случился переход брата Антона в литературе из Москвы в Петербург, где и создавалась мало-помалу его слава.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

Получил сегодня от Лейкина письмо. <...> Это добродушный и безвредный человек, но буржуа до мозга костей. Он если приходит куда или говорит что-нибудь, то непременно с

задней мыслью. Каждое свое слово он говорит строго обдуманно и каждое ваше слово, как бы оно ни было случайно сказано, мотает себе на ус в полной уверенности, что ему, Лейкину, это так нужно, иначе книги его не пойдут, враги восторжествуют, друзья покинут, кредитка прогонит... Лисица каждую минуту боится за свою шкуру, так и он. Тонкий дипломат! Если говорит обо мне, то это значит, что он хочет бросить камешек в огород "нигилистов", которые меня испортили (Михайловский), и брата Александра, которого он ненавидит. В своих письмах ко мне он меня предостерегает, пугает, советует, открывает мне тайны... Несчастный хромой мученик! Мог бы покойно прожить до самой смерти, но какой-то бес мешает...

Чехов — А. С. Суворину, 3 ноября 1888 г. Москва

Вы писали, что будете в Москве, я все ждал от Вас телеграммы или письма, рассчитывая повидаться, но, очевидно, Вы изменили Ваши планы насчет Москвы. Вместо Вас небо послало мне Лейкина, который приезжал ко мне с Ежовым и Грузинским — двумя молодыми тюфяками, которые не проронили ни одного слова, но нагнали на всю усадьбу лютую скуку. Лейкин обрюзг, опустился физически, облез, но стал добрее и душевнее; должно быть, скоро умрет. Моя мать, заказывая мяснику мясо, сказала, что нужно мясо получше, так как у нас гостит Лейкин из Петербурга. "Это какой Лейкин? — изумился мясник. — Тот, что книги пишет?" — и прислал превосходного мяса. Стало быть, мясник не знает, что я тоже пишу книги, так как для меня он всегда присылает одни только жилы.

Чехов — А. С. Суворину, 16 марта 1895 г. Мелихово

Вчера прочел новый рассказ Ан. Чехова "Дама с собачкой", напечатанный в послед-ней книжке "Русской мысли". Небольшой этот рассказ, по-моему, совсем слаб. Чеховского в нем нет ничего. Нет тех картин природы, на которые он был такой мастер в своих первых рассказах. Действие в Ялте. Рассказывается, как один пожилой уже приезжий москвич-ловелас захороводил молоденькую, недавно только вышедшую замуж женщину и которая отдалась ему совершенно без борьбы. Легкость ялтинских нравов он хотел показать, что ли!

Н. А. Лейкин. Дневник. 24 декабря 1899 г.

Григорович

В газетных некрологах и заметках упоминается о том, будто А. С. Суворин первый рассмотрел среди ворохов нашего тусклого российского "юмора" неподдельные жемчужины чеховского таланта. Это, кажется, неверно. Первый обратил на них внимание

Д. В. Григорович. Как кажется, он оценил эти самородные блестки еще тогда, когда они были разбросаны на страницах юмористических журналов или, быть может, по первому сборнику “А. Чехонте”. Кажется, Григорович же устроил издание “Пестрых рассказов”, и едва ли не от него узнал о Чехове Суворин, который и пригласил его работать в “Новом времени”.

В. Г. Короленко. Антон Павлович Чехов

Милостивый государь Антон Павлович,

Около года тому назад я случайно прочел в “Петербургской газете” Ваш рассказ; названия его теперь не припомню; помню только, что меня поразили в нем черты особенной своеобразности, а главное — замечательная верность, правдивость в изображении действующих лиц и также при описании природы. С тех пор я читал все, что было подписано *Чехонте*, хотя внутренне сердился за человека, который так еще мало себя ценит, что считает нужным прибегать к псевдониму. Читая Вас, я постоянно советовал Суворину и Буренину следовать моему примеру. Они меня послушали и теперь, вместе со мною, не сомневаются, что у Вас *настоящий* талант, — талант, выдвигающий Вас далеко из круга литераторов нового поколенья. Я не журналист, не издатель; пользоваться Вами я могу только читая Вас; если я говорю о Вашем таланте, говорю по убеждению. Мне минуло уже 65 лет; но я сохранил еще столько любви к литературе, с такой горячностью слежу за ее успехом, так радуюсь всегда, когда встречаю в ней что-нибудь живое, даровитое, что не мог — как видите — утерпеть и протягиваю Вам обе руки. Но это еще не все; вот что хочу прибавить: по разнообразным свойствам Вашего несомненного таланта, верному чувству внутреннего анализа, мастерству в описательном роде (метель, ночь и местность в “Агафье” и т. д.), чувству пластичности, где в нескольких строчках является полная картина: тучки на угасающей заре— “*как пепел на потухающих угольях...”* и т. д. — Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных, истинно художественных произведений. Вы совершите великий нравственный грех, если не оправдаете таких ожиданий. Для этого вот что нужно: уважение к таланту, который дается так редко. Бросьте срочную работу. Я не знаю Ваших средств; если у Вас их мало, голодайте лучше, как мы в свое время голодали, поберегите Ваши впечатления для труда обдуманного, обделанного, писанного не в один присест, но писанного в счастливые часы внутреннего настроения. Один такой труд будет во сто раз выше оценен сотни прекрасных рассказов, разбросанных в разное время по газетам; Вы сразу возьмете приз и станете на видную точку в глазах чутких людей и

затем всей читающей публики. В основу Ваших рассказов часто взят мотив несколько цинического оттенка, к чему это? Правдивость, реализм не только не исключают изящества,— но выигрывают от последнего. Вы настолько сильно владеете формой и чувством пластики, что нет особой надобности говорить, например, о грязных ногах с вывороченными ногтями и о пупке у дьячка. Детали эти ровно ничего не прибавляют к художественной красоте описания, а только портят впечатление в глазах читателя со вкусом. Простите мне великодушно такие замечания; я решился их высказать потому только, что истинно верю в Ваш талант и желаю ему ото всей души полного развития и полного выражения. На днях, говорили мне, выходит книга с Вашими рассказами; если она будет под псевдонимом *Че-хон-те*, — убедительно прошу Вас телеграфировать издателю, чтобы он поставил на ней настоящее Ваше имя. После последних рассказов в “Новом времени” и успеха “Егеря” оно будет иметь больше успеха. Мне приятно было бы иметь удостоверение, что Вы не сердитесь на мои замечания, но принимаете их как следует к сердцу точно так же, как я пишу Вам неавторитетно, — по простоте чистого сердца.

Жму Вам дружески руку и желаю Вам всего лучшего.

Уважающий Вас Д. Григорович.

Д. В. Григорович — Чехову, 25 марта 1886 г. Петербург

Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния. Я едва не заплакал, разволновался и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе. Как Вы приласкали мою молодость, так пусть бог успокоит Вашу старость, я же не найду ни слов, ни дел, чтобы благодарить Вас. Вы знаете, какими глазами обыкновенные люди глядят на таких избранников, как Вы; можете поэтому судить, что составляет для моего самолюбия Ваше письмо. Оно выше всякого диплома, а для начинающего писателя оно — гонорар за настоящее и будущее. Я как в чаду. Нет у меня сил судить, заслужена мной эта высокая награда или нет... Повторяю только, что она меня поразила.

Если у меня есть дар, который следует уважать, то, каюсь перед чистотою Вашего серд-ца, я доселе не уважал его. Я чувствовал, что он у меня есть, но привык считать его ничтожным. Чтоб быть к себе несправедливым, крайне мнительным и подозрительным, для организма достаточно причин чисто внешнего свойства... А таких причин, как теперь припоминаю, у меня достаточно. Все мои близкие всегда относились снисходительно к моему авторству и не переставали дружески советовать мне не менять настоящее дело на бумагомаранье. У меня в Москве сотни знакомых, между ними

десятка два пишущих, и я не могу припомнить ни одного, который читал бы меня или видел во мне художника. В Москве есть так называемый “литературный кружок”: таланты и посредственности всяких возрастов и мастей собираются раз в неделю в кабинете ресторана и прогуливают здесь свои языки. Если пойти мне туда и прочесть хотя кусочек из Вашего письма, то мне засмеются в лицо. За пять лет моего шатанья по газетам я успел проникнуться этим общим взглядом на свою литературную мелкость, скоро привык снисходительно смотреть на свои работы, и — пошла писать! Это первая причина... Вторая — я врач и по уши втянулся в свою медицину, так что поговорка о двух зайцах никому другому не мешала так спать, как мне.

Пишу все это для того только, чтобы хотя немного оправдаться перед Вами в своем тяжком грехе. Доселе относился я к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно, зря. Не помню я ни одного своего рассказа, над которым я работал бы более суток, а “Егеря”, который Вам понравился, я писал в купальне! Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы: машинально, полубессознательно, нимало не заботясь ни о читателе, ни о себе самом... Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые я, бог знает почему, берег и тщательно прятал.

Первое, что толкнуло меня к самокритике, было очень любезное и, насколько я понимаю, искреннее письмо Суворина. Я начал собираться написать что-нибудь путевое, но все-таки веры в собственную литературную путевость у меня не было.

Но вот нежданно-негаданно явилось ко мне Ваше письмо. Простите за сравнение, оно подействовало на меня, как губернаторский приказ “выехать из города в 24 часа!”, т. е. я вдруг почувствовал обязательную потребность спешить, скорее выбраться оттуда, куда завяз...

Я с Вами во всем согласен. Циничности, на которые Вы мне указываете, я почувствовал сам, когда увидел “Ведьму” в печати. Напиши я этот рассказ не в сутки, а в 3–4 дня, у меня бы их не было...

От срочной работы избавлюсь, но не скоро... Выбиться из колеи, в которую я попал, нет возможности. Я не прочь голодать, как уж голодал, но не во мне дело... Письму я отдаю досуг, часа 2–3 в день и кусочек ночи, т. е. время, годное только для мелкой работы. Летом, когда у меня досуга больше и проживать приходится меньше, я возьмусь за серьезное дело.

Поставить на книжке мое настоящее имя нельзя, потому что уже поздно: виньетка готова и книга напечатана. Мне многие

петербуржцы еще до Вас советовали не портить книги псевдонимом, но я не послушался, вероятно, из самолюбия. Книжка моя мне очень не нравится. Это винегрет, беспорядочный сброд студенческих работишек, ощипанных цензурой и редакторами юмористических изданий. Я верю, что, прочитав ее, многие разочаруются. Знай я, что меня читают и что за мной следите Вы, я не стал бы печатать этой книги.

Вся надежда на будущее. Мне еще только 26 лет.

Может быть, успею что-нибудь сделать, хотя время бежит быстро.

Простите за длинное письмо и не вменяйте человеку в вину, что он первый раз в жизни дерзнул побаловать себя таким наслаждением, как письмо к Григоровичу.

Пришлите мне, если можно, Вашу карточку. Я так обласкан и взбудоражен Вами, что, кажется, не лист, а целую стопу написал бы Вам. Дай бог Вам счастья и здоровья, и верьте искренности глубоко уважающего Вас и благодарного

А. Чехова.

Чехов — Д. В. Григоровичу, 28 марта 1886 г. Москва

…“Засмеяться Чехову в лицо”, если бы он прочел “хотя кусочек письма” Григоровича, вряд ли мог кто-либо, и он знал это очень хорошо. Так что “жалкие слова” вылились на бумаге под давлением чувствительно-благодарного настроения и, быть может, какой-то домашней неприятности. Да и читалось это письмо. Не помню, читалось ли в кружке, но в Москве о нем очень знали, и Чехов из него секрета не делал. И, конечно, не встречал никаких насмешек, а, напротив, самое живое и радостное сочувствие. Мы же, молодые, были прямо в восторге, что Чехову начинает везти. Однажды даже шампан-ское пили по этому случаю: Курепин, Чехов, я, Евгений Пасек, Гиляровский.

А. В. Амфитеатров. О письмах Чехова

Я Григоровича очень люблю, но не верю тому, что он за меня боится. Сам он тенденциозный писатель и только прикидывается врагом тенденции. Мне кажется, что его одолевает постоянный страх потерять расположение людей, которых он любит,— отсюда и его виртуозная неискренность.

Чехов — А. С. Суворину, 6 января 1889 г. Москва

Вчера приходил Григорович; долго целовал меня, врал и все просил рассказать ему про японок.

Чехов — М. П. Чеховой, 14 января 1891 г. Петербург

...Те, которые давали обед приезжавшему Григоровичу, говорят теперь: как много мы лгали на этом обеде и как много он лгал!

Чехов — А. С. Суворину, 25 января 1894 г. Мелихово

У большого успеха — много соавторов. Оказывается, Чехова родили Лейкин (см. выше) и Суворин (см. ниже), открыли Григорович, Лейкин, Лесков, даже Буренин (в других, непубликуемых, версиях воспоминаний).

Важно, что в данном случае было что открывать: сколько раз надежды не оправдывались, и "литературные отцы" стремились забыть о своих неудавшихся потомках.

Еще важнее иное: поиск победителя-ученика, не стилистического эпигона, а писателя, пришедшего с "новым словом", которого побежденный учитель обязан благословить, стал после Державина и Жуковского важной культурной миссией, частью призвания.

"Неавторитетное" письмо Григоровича так поразило Антошу Чехонте (его ответ уникален в чеховском эпистолярии по открытости и страстности) как раз потому, что он был не старым неудачником и не приятелем-литератором, а одной из символических фигур пришедшего после Гоголя литературного поколения, определявшего вкусы почти полстолетия. Через полтора месяца в юмористической "Литературной табели о рангах" (май 1886) Григоровичу наряду с Салтыковым-Щедриным будет присвоен генеральский чин действительного статского советника: выше оказались лишь тайные советники Толстой и Гончаров.

Григорович имел право воскликнуть: "Новый Гоголь явился!" Но окончательно зафиксировал процесс "передачи лиры" Лев Толстой, увидевший в Чехове своего победителя-ученика, наследника, литературного сына (и даже чеховскую драматургию критиковавший как-то забавно-ворчливо, по-семейному, по-родственному).

Забегая вперед, можно отметить, что Чехов достойно выполнил и эту задачу. Поискав "новых Чеховых" в своем кругу (А. С. Лазарев-Грузинский, Н. М. Ежов), он в конце жизни поддержал и ободрил Бунина и Горького, точно угадав перспективу, вектор литературного развития.

Горький подменил задачу, превратив поиск наследника в литературную учебу, воспитание "литературного молодняка". Бунин отменил ее, занимаясь в конце жизни не угадыванием будущего, а переписыванием прошлого (результатом чего и была замечательная неоконченная книга "О Чехове").

Когда и куда это исчезло потом?

Петербург

Словом, если Москва дала ему медицинские познания и сделала его врачом, то восприемником его литературной карьеры был Петербург. И, сколько мне помнится, в Петербург он всегда

ездил с удовольствием. В Москве у него шла постоянная, напряженная работа. Даже в Мелихове, которое он любил, как птица любит ею самой свитое гнездо, он не был избавлен от всегдашней заботы о средствах к жизни. В Петербург же он приезжал как будто на гастроли. Здесь были люди, у которых он мог считать себя как дома. С семейством А. С. Суворина он был в прекрасных отношениях, и там для него был всегда готов “и стол и дом”.

Правда, он не особенно любил там останавливаться, но это происходило не от недостатка любезности со стороны хозяев или недоверия с его стороны, а просто от желания не стеснять ни других, ни себя. Быть кому-нибудь обязанным без уверенности в том, что он сможет отплатить, было для него настоящим пугалом. И если он иногда останавливался в гостинице, то это вызывалось не необходимостью, а его капризом.

В самом же Петербурге он был, что называется, нарасхват. Всюду его звали, всем хотелось видеть его своим гостем. Литературных приятелей у него было множество, со всеми надо было посидеть, поболтать, распить бутылку вина. А кроме того, наполняли время и литературные дела, так как круг его литературных отношений расширился.

И петербургский образ жизни был совсем иной, более подходящий к его вкусам, чем московский, и менее для него вредный. Петербуржцы — домоседы по преимуществу. Московская трактирность им не по нутру. И потому тут жизнь проходит спокойнее и здоровее.

Он всегда говорил, что в Петербурге у него голова как-то яснее, чем в Москве. Это понятно. Когда люди спрашивают друг у друга: где мы встретимся вечером? — в Петербурге это значит: я к вам приеду, или вы ко мне? Когда такой же вопрос задают в Москве, это значит: в “Эрмитаже”, в “Метрополе”, в “Праге” или у “Яра”?

И в этом отношении Петербург был благоприятен для его здоровья. Здесь он и спать ложился раньше, и нервы его были спокойнее.

И, конечно, он давно оставил бы Москву и стал бы жить в Петербурге, если бы не убийственный для его легких климат нашей северной столицы. Эта вечная сырость, постоянные неожиданные смены тепла холодом и холода теплом, ветры — все это для него было переносимо только в самой небольшой дозе. И он, под личиной постоянного бронхита всегда подозревавший прятавшуюся за ним свою болезнь, стремился в этот город и боялся его.

И. Н. Потапенко. Несколько лет с А. П. Чеховым

После Вашего отъезда, перед Рождеством, приехал в Москву один петербургский редактор и повез меня в Петербург. Ехал я на курьерском в I классе, что обошлось редактору недешево. В Питере меня так приняли, что потом месяца два кружилась голова от хвалебного чада. Квартира у меня была там великолепная, пара лошадей, отменный стол, даровые билеты во все театры. Я в жизнь свою никогда не жил так сладко, как в Питере. Расхвалив меня, угостив, как только было возможно, мне дали еще денег рублей 300 и отправили обратно в I классе. Оказалось, что в Петербурге меня знают гораздо больше, чем в Москве.

Чехов — М. Е. Чехову, 11 апреля 1886 г. Москва

Я утомлен, как балерина после пяти действий и восьми картин. Обеды, письма, на которые лень отвечать, разговоры и всякая чепуха. Сейчас надо ехать обедать на Васильевский остров, а мне скучно и надо работать. Поживу еще три дня, посмотрю, если балет будет продолжаться, то уеду домой или к Ивану в Судорогу.

Меня окружает густая атмосфера злого чувства, крайне неопределенного и для меня непонятного. Меня кормят обедами и поют мне пошлые дифирамбы и в то же время готовы меня съесть. За что? Черт их знает. Если бы я застрелился, то доставил бы этим большое удовольствие девяти десятым своих друзей и почитателей. И как мелко выражают свое мелкое чувство! Буренин ругает меня в фельетоне, хотя нигде не принято ругать в газетах своих же сотрудников; Маслов (Бежецкий) не ходит к Суворинym обедать; Щеглов рассказывает все ходящие про меня сплетни и т. д. Все это ужасно глупо и скучно. Не люди, а какая-то плесень.

Чехов — М. П. Чеховой, 14 января 1891 г. Петербург

Суворин

Дело совсем не в том, кто именно, ознакомившись с рассказами Антоши Чехонте, крикнул о нем в уши Суворину: “Талант!” Подумаешь, мало подобных аттестаций о других слышал Суворин даже и от того же Григоровича, и от людей, которым он верил побольше, чем Григоровичу. А в том дело, что Суворин, проверив коснувшийся его слуха отзыв, сразу уверовал в Чехова. Понял в нем великую надежду русской литературы, возлюбил его с страстностью превыше родственной и сделал все, что мог, для того, чтобы молодое дарование Чехова росло, цвело и давало зрелый плод в условиях спокойствия и независимости — шло бы, в полном смысле слова, своим путем.

А. В. Амфитеатров Десятилетняя годовщина

Из “Пет<ербургской> газ<еты>” пошел в “Новое время”,

где был принят Сувориным. Он очень любезно меня принял и даже подал руку.

— Старайтесь, молодой ч<елове>к! — сказал он. — Я вами доволен, но только почаще в церковь ходите и не пейте водки. Дыхните!

Я дыхнул. Суворин, не услышав запаха, повернулся и крикнул: “Мальчики!” Явился мальчик, к<ото>рому было приказано подать чаю вприкуску и без блюдечка.

За сим уважаемый г. Суворин дал мне денег и сказал:

— Надо беречь деньги... Подтяните брюки!

Чехов — М. П. Чехову, 25 апреля 1886 г. Петербург

Пишу Вам, милый капитан, с берегов Черного моря. Живу в Феодосии у генерала Суворина. <…> Целый день проводим в разговорах. Ночь тоже. И мало-помалу я обращаюсь в разговорную машину. Решили мы уже все вопросы и наметили тьму новых, еще никем не приподнятых вопросов. Говорим, говорим, говорим и, по всей вероятности, кончим тем, что умрем от воспаления языка и голосовых связок. Быть с Сувориным и молчать так же нелегко, как сидеть у Палкина и не пить. Действительно, Суворин представляет из себя воплощенную чуткость. Это большой человек. В искусстве он изображает из себя то же самое, что сеттер в охоте на бекасов, т. е. работает чертовским чутьем и всегда горит страстью. Он плохой теоретик, наук не проходил, многого не знает, во всем он самоучка — отсюда его чисто собачья неиспорченность и цельность, отсюда и самостоятельность взгляда. Будучи беден теориями, он поневоле должен был развить в себе то, чем богато наделила его природа, поневоле он развил свой инстинкт до размеров большого ума. Говорить с ним приятно. А когда поймешь его разговорный прием, его искренность, которой нет у большинства разговорщиков, то болтовня с ним становится почти наслаждением. Ваше Суворин-шмерц я отлично понимаю.

Чехов — И. Л. Леонтьеву-Щеглову, 18 июля 1888 г. Феодосия

В редакции у нас идет страшная сволочность и скандал следует за скандалом. <…> Я не знаю содержания твоего письма старику Суворину, но знаю его последствия. Михаил Алексеевич <Суворин, старший сын, ровесник Чехова> и дофин <прозвище Алексея Алексеевича Суворина, второго сына, считавшегося главным наследником дела отца > оба вместе упрекают тебя в самой черной неблагодарности. Ты-де всем от первой нитки до последней, от денег и до славы обязан старику. Без него ты был бы нулем. Ты же в знак благодарности суешь свой нос в семейные дела и восстановляешь его против детей. Об этом у нас говорят в редакции громко, даже в моем присутствии.

Ал. П. Чехов — Чехову, 31 марта 1893 г. Петербург

Я собирался писать Суворину, но не написал ни одной строки, и потому письмо мое, которое так возмутило дофина и его брата, есть чистейшая выдумка. Но раз идут разговоры, значит, так тому и быть: старое здание затрещало и должно рухнуть. Старика мне жалко, он написал мне покаянное письмо; с ним, вероятно, не придется рвать окончательно; что же касается редакции и дофинов, то какие бы то ни было отношения с ними мне совсем не улыбаются. Я оравнодушел в последние годы и чувствую свою animam <душу> настолько свободной от забот суетного света, что мне решительно все равно, что говорят и думают в редакции. К тому же по убеждениям своим я стою на 7375 верст от Жителя и К°. Как публицисты они мне просто гадки, и это я заявлял тебе уже неоднократно.

Чехов — Ал. П. Чехову, 4 апреля 1893 г. Мелихово

А. С. <Суворин>: "Чехов — кремень-человек и жестокий талант по своей суровой объективности. Избалован, самолюбие огромное".

И. Л. Леонтьев-Щеглов. Дневник, 22 апреля 1896 г.

<Чехов> "Я очень люблю Суворина, очень, но знаете ли, Жан, бесхарактерные люди подчас в серьезные минуты жизни бывают вреднее злодеев".

И. Л. Леонтьев-Щеглов. Материалы <о Чехове>

В деле Зола "Новое время" вело себя просто гнусно. По сему поводу мы со старцем <А. С. Суворинym> обменялись письмами (впрочем, в тоне весьма умеренном) — и замолкли оба. Я не хочу писать и не хочу его писем, в которых он оправдывает бестактность своей газеты тем, что любит военных, — не хочу, потому что все это мне уже давно наскучило. Я тоже люблю военных, но я не позволил бы кактусам, будь у меня газета, в Приложении печатать роман Зола задаром, а в газете выливать на этого же Зола помои — и за что? за то, что никогда не было знакомо ни одному из кактусов, за благородный порыв и душевную чистоту. И как бы то ни было, ругать Зола, когда он под судом — это не литературно.

Чехов — Ал. П. Чехову, 23 февраля (7 марта) 1898 г. Ницца

Я с Чеховым чувствую себя превосходно. Я на 26 лет старше его. Познакомились мы с ним в 1886 г. "Я тогда был моложе", — сказал я. "А все-таки на 26 лет и тогда были старше".

А. С. Суворин. Дневник, 15 мая 1900 г.

А. С. <Суворин > о Чехове: "Певец среднего сословия! Никогда большим писателем не был и не будет..." Видимо, А. С. Суворин начинает остывать.

И. Л. Леонтьев-Щеглов. Дневник, 22 июля 1904 г.

Путешествие

Что касается меня, то я тоже кашляю, но жив и, кажется, здоров. Этим летом у Вас не буду, так как в апреле по своим надобностям уезжаю на остров Сахалин, откуда вернусь в декабре. Туда еду через Сибирь (11 тысяч верст), а оттуда морем. Миша, кажется, писал Вам, что меня будто кто-то командирует туда, но это вздор. Я сам себя командирую, на собственный счет. На Сахалине много медведей и беглых, так что в случае, если мною пообедают господа звери или зарежет какой-нибудь бродяга, то прошу не поминать лихом.

Чехов — Н. М. Линтваревой, 5 марта 1890 г. Москва

Вы пишете, что Сахалин никому не нужен и ни для кого не интересен. Будто бы это верно? Сахалин может быть ненужным и неинтересным только для того общества, которое не ссылает на него тысячи людей и не тратит на него миллионов. После Австралии в прошлом и Кайены Сахалин — это единственное место, где можно изучать колонизацию из преступников; им заинтересована вся Европа, а нам он не нужен? Не дальше как 25–30 лет назад наши же русские люди, исследуя Сахалин, совершали изумительные подвиги, за которые можно боготворить человека, а нам это не нужно, мы не знаем, что это за люди, и только сидим в четырех стенах и жалуемся, что бог дурно создал человека. Сахалин — это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный. Работавшие около него и на нем решали страшные, ответственные задачи и теперь решают. Жалею, что я не сентиментален, а то я сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку, а моряки и тюрьмоведы должны глядеть, в частности, на Сахалин, как военные на Севастополь. Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей. Теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы, но нам до этого дела нет, это неинтересно. Прославленные шестидесятые годы не сделали ничего для больных и заключенных, нарушив таким образом самую главную заповедь христианской цивилизации.

В наше время для больных делается кое-что, для заключенных же ничего; тюрьмоведение совершенно не интересует наших юристов. Нет, уверяю Вас, Сахалин нужен и интересен, и нужно пожалеть только, что туда еду я, а не кто-нибудь другой, более смыслящий в деле и более способный

возбудить интерес в обществе. Я же лично еду за пустяками.

Чехов — А. С. Суворину, 9 марта 1890 г. Москва

Если пейзаж в дороге для вас не последнее дело, то, едучи из России в Сибирь, вы проскучаете от Урала вплоть до самого Енисея. Холодная равнина, кривые березки, лужицы, кое-где озера, снег в мае да пустынные, унылые берега притоков Оби — вот и все, что удается памяти сохранить от первых двух тысяч верст. Природа же, которую боготворят инородцы, уважают наши беглые и которая со временем будет служить неисчерпаемым золотым прииском для сибирских поэтов, природа оригинальная, величавая и прекрасная начинается только с Енисея.

Не в обиду будь сказано ревнивым почитателям Волги, в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея. Пускай Волга — нарядная, скромная, грустная красавица, зато Енисей — могучий, неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость. На Волге человек начал удалью, а кончил стоном, который зовется песнью; яркие, золотые надежды сменились у него немочью, которую принято называть русским пессимизмом, на Енисее же жизнь началась стоном, а кончится удалью, какая нам и во сне не снилась. Так, по крайней мере, думал я, стоя на берегу широкого Енисея и с жадностью глядя на его воду, которая с страшной быстротой и силой мчится в суровый Ледовитый океан. В берегах Енисею тесно. Невысокие валы обгоняют друг друга, теснятся и описывают спиральные круги, и кажется странным, что этот силач не смыл еще берегов и не пробуравил дна. На этом берегу Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских городов, а на том — горы, напомнившие мне о Кавказе, такие же дымчатые, мечтательные. Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега! Я завидовал Сибирякову, который, как я читал, из Петербурга плывет на пароходе в Ледовитый океан, чтобы оттуда пробраться в устье Енисея; я жалел, что университет открыт в Томске, а не тут, в Красноярске. Много у меня было разных мыслей, и все они путались и теснились, как вода в Енисее, и мне было хорошо...

Чехов. Из Сибири, глава IX

Море на вид холодное, мутное, ревет, и высокие седые волны бьются о песок, как бы желая сказать в отчаянии: “Боже, зачем ты нас создал?” Это уже Великий, или Тихий, океан. На этом берегу Найбучи слышно, как на постройке стучат топорами каторжане, а на том берегу, далеком, воображаемом, Америка. Налево видны в тумане сахалинские мысы, направо тоже мысы... а кругом ни одной живой души, ни птицы, ни мухи, и кажется непонятным, для кого здесь ревут волны, кто их слушает здесь по ночам, что

им нужно и, наконец, для кого они будут реветь, когда я уйду. Тут, на берегу, овладевают не мысли, а именно думы; жутко и в то же время хочется без конца стоять, смотреть на однообразное движение волн и слушать их грозный рев.

Чехов. Остров Сахалин, глава XIII

Прожил я на Сев<ерном> Сахалине ровно два месяца. Принят я был местной администрацией чрезвычайно любезно, хотя Галкин не писал обо мне ни слова. Ни Галкин, ни баронесса Выхухоль, ни другие гении, к которым я имел глупость обращаться за помощью, никакой помощи мне не оказали; пришлось действовать на собственный страх.

Сахалинский генерал Кононович — интеллигентный и порядочный человек. Мы скоро спелись, и все обошлось благополучно. Я привезу с собою кое-какие бумаги, из которых Вы увидите, что условия, в которые я был поставлен с самого начала, были благоприятнейшими. Я видел все; стало быть, вопрос теперь не в том, что я видел, а как видел.

Не знаю, что у меня выйдет, но сделано мною немало. Хватило бы на три диссертации. Я вставал каждый день в 5 часов утра, ложился поздно и все дни был в сильном напряжении от мысли, что мною многое еще не сделано, а теперь, когда уже я покончил с каторгою, у меня такое чувство, как будто я видел все, но слона-то и не приметил.

Кстати сказать, я имел терпение сделать перепись всего сахалинского населения. Я объездил все поселения, заходил во все избы и говорил с каждым; употреблял я при переписи карточную систему, и мною уже записано около десяти тысяч человек каторжных и поселенцев. Другими словами, на Сахалине нет ни одного каторжного или поселенца, который не разговаривал бы со мной. Особенно удалась мне перепись детей, на которую я возлагаю немало надежд.

Чехов — А. С. Суворину, 11 сентября 1890 г.

Татарский пролив, пароход “Байкал”

Пока я жил на Сахалине, моя утроба испытывала только некоторую горечь, как от прогорклого масла, теперь же, по воспоминаниям, Сахалин представляется мне целым адом. Два месяца я работал напряженно, не щадя живота, в третьем же месяце стал изнемогать от помянутой горечи, скуки и от мысли, что из Владивостока на Сахалин идет холера и что я таким образом рискую прозимовать на каторге. Но, слава небесам, холера прекратилась, и 13 октября пароход увез меня из Сахалина. <…>

Когда вышли из Гонг-Конга, нас начало качать. Пароход был пустой и делал размахи в 38 градусов, так что мы боялись, что он

опрокинется. Морской болезни я не подвержен — это открытие меня приятно поразило. По пути к Сингапуру бросили в море двух покойников. Когда глядишь, как мертвый человек, завороченный в парусину, летит, кувыркаясь, в воду, и когда вспоминаешь, что до дна несколько верст, то становится страшно и почему-то начинает казаться, что сам умрешь и будешь брошен в море. Заболел у нас рогатый скот. По приговору доктора Щербака и Вашего покорнейшего слуги, скот убили и бросили в море.

Сингапур я плохо помню, так как, когда я объезжал его, мне почему-то было грустно; я чуть не плакал. Затем следует Цейлон — место, где был рай. Здесь, в раю, я сделал больше 100 верст по железной дороге и по самое горло насытился пальмовыми лесами и бронзовыми женщинами. Когда у меня будут дети, то я не без гордости скажу им: “Сукины дети, я на своем веку имел сношение с черноглазой индуской... и где же? в кокосовом лесу, в лунную ночь”. От Цейлона безостановочно плыли 13 суток и обалдели от скуки. Жару выношу я хорошо. Красное море уныло; глядя на Синай, я умилялся.

Хорош божий свет. Одно только не хорошо: мы. Как мало в нас справедливости и смирения, как дурно понимаем мы патриотизм! Пьяный, истасканный забулдыга муж любит свою жену и детей, но что толку от этой любви? Мы, говорят в газетах, любим нашу великую родину, но в чем выражается эта любовь? Вместо знаний — нахальство и самомнение паче меры, вместо труда — лень и свинство, справедливости нет, понятие о чести не идет дальше “чести мундира”, мундира, который служит обыденным украшением наших скамей для подсудимых. Работать надо, а все остальное к черту. Главное — надо быть справедливым, а остальное все приложится.

Чехов — А. С. Суворину, 9 декабря 1890 г. Москва

Привез я с собой около 10 тысяч статистических карточек и много всяких бумаг. Я хотел бы быть женат теперь на какой-нибудь толковой девице, чтобы она помогала мне разбираться в этом хламе, на сестру же взваливать сию работу совестно, ибо у нее и так работы много.

У меня растет брюшко и начинается импотенция.

После тропиков простудился: кашель, жар по вечерам и голова болит.

Григорович никогда не был дворником на Песках, потому так дешево и ценит царство небесное. Врет он.

Мне кажется, что жить вечно было бы так же трудно, как всю жизнь не спать.

Если в царстве небесном солнце заходит так же хорошо, как в

Бенгальском заливе, то, смею Вас уверить, царство небесное — очень хорошая штука.

<…> Как Вы были неправы, когда советовали мне не ехать на Сахалин! У меня и брюшко теперь, и импотенция милая, и мириады мошек в голове, и чертова пропасть планов, и всякие штуки, а какой кислятиной я был бы теперь, если бы сидел дома. До поездки “Крейцерова соната” была для меня событием, а теперь она мне смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то с ума сошел — черт меня знает.

Чехов — А. С. Суворину, 17 декабря 1890 г. Москва

Так не хотите в Индию? Напрасно. Когда в прошлом есть Индия, долгое плавание, то во время бессонницы есть о чем вспомнить.

Чехов — М. Горькому, 15 февраля 1900 г. Ялта

Загадочная поездка на Сахалин, возможно, была не общественным предприятием и даже литературным “проектом”, а личным испытанием.

Если цели нет, ее можно придумать.

Но в ялтинском одиночестве он чаще вспоминал все-таки не Индию, не бронзовых женщин Цейлона, не каторжных парий, а Москву, журнальную молодость — или думал о том, чего никому не хотел рассказывать.

Европа

Я теперь в Венеции, куда приехал третьего дня из Вены. Одно могу сказать: замечательнее Венеции я в своей жизни городов не видел. Это сплошное очарование, блеск, радость жизни. Вместо улиц и переулков каналы, вместо извозчиков гондолы, архитектура изумительная, и нет того местечка, которое не возбуждало бы исторического или художественного интереса. Плывешь в гондоле и видишь дворцы дожей, дом, где жила Дездемона, дома знаменитых художников, храмы… А в храмах скульптура и живопись, какие нам и во сне не снились. Одним словом, очарование.

Весь день от утра до вечера я сижу в гондоле и плаваю по улицам или же брожу по знаменитой площади Святого Марка. Площадь гладка и чиста, как паркет. Здесь собор святого Марка — нечто такое, что описать нельзя, дворец дожей и такие здания, по которым я чувствую подобно тому, как по нотам поют, чувствую изумительную красоту и наслаждаюсь.

А вечер! Боже ты мой господи! Вечером с непривычки можно умереть. Едешь ты на гондоле… Тепло, тихо, звезды… Лошадей в Венеции нет, и потому тишина здесь, как в поле. Вокруг снуют гондолы… Вот плывет гондола, увешанная фонариками. В ней сидят контрабас, скрипки, гитара, мандолина и корнет-а-пистон,

две-три барыни, несколько мужчин — и ты слышишь пение и музыку. Поют из опер. Какие голоса! Проехал немного, а там опять лодка с певцами, а там опять, и до самой полночи в воздухе стоит смесь теноров, скрипок и всяких за душу берущих звуков.

Мережковский, которого я встретил здесь, с ума сошел от восторга. Русскому человеку, бедному и приниженному, здесь, в мире красоты, богатства и свободы, нетрудно сойти с ума. Хочется здесь навеки остаться, а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хочется принять католичество.

Великолепны усыпальницы Кановы и Тициана. Здесь великих художников хоронят, как королей, в церквах; здесь не презирают искусства, как у нас: церкви дают приют статуям и картинам, как бы голы они ни были.

Чехов — И. П. Чехову, 24 марта (5 апреля) 1891 г. Венеция

Надо быть быком, чтобы, приехав первый раз в Венецию или во Флоренцию, стать “отклоняться от запада”. В этом отклонении мало ума. Но желательно было бы знать, кто это старается, кто оповестил всю вселенную о том, что будто заграница мне не понравилась? Господи ты боже мой, никому я ни одним словом не заикнулся об этом. Мне даже Болонья понравилась. Что же я должен был делать? Реветь от восторга? Бить стекла? Обниматься с французами? Идей я не вывез, что ли? Но и идеи, кажется, вывез. Ваша статья об ипподроме больше моя, чем Ваша, ибо я Вам уши прожужжал про эту новую форму театра.

Чехов — А. С. Суворину, 27 мая 1891 г. Богимово

У нас уродился очень вкусный картофель и дивная капуста. Как Вы обходитесь без щей? Не завидую ни Вашему морю, ни свободе, ни хорошему настроению, какое испытывается за границею. Русское лето лучше всего. А, сказать кстати, за границу мне не особенно хочется. После Сингапура, Цейлона и, пожалуй, нашего Амура Италия и даже кратер Везувия не кажутся обольстительными. Побывав в Индии и Китае, я не видел большой разницы между заграницей и Россией.

Чехов — А. С. Суворину, 16 августа 1892 г. Мелихово

Как-то после поездки в Аббацию он сказал мне: “Зелень там глянцевитая — точно металлическая. То ли дело наши березы и липы!” Заграничные путешествия не отозвались ни на его творчестве, ни на нем самом. Я часто думала, отчего это? И мне кажется, объяснение нашла. Чехов был писатель, которого страстно интересовала жизнь, интересовал человек. Чтобы писать, он должен был наблюдать жизнь и человека. За границей же это не могло быть ему доступно — по той простой причине, что Чехов не владел ни одним европейским языком — и, таким образом, его жизнь за границей превращалась для него во что-то

вроде кинофильма: он, так сказать, чувствовал себя глухонемым: один пейзаж, да и тот “бутафорский”, казавшийся ему слишком нарочито красивым, не удовлетворял его.

Т. Л. Щепкина-Куперник. О Чехове

Поклонитесь Италии. Я ее горячо люблю, хотя Вы и говорили Григоровичу, будто я лег на площади Св. Марка и сказал: “Хорошо бы теперь у нас в Моск<овской> губернии на травке полежать!” Ломбардия меня поразила, так что, мне кажется, я помню каждое дерево, а Венецию я вижу закрывши глаза.

Чехов — А. С. Суворину, 23 марта 1895 г. Мелихово

Мелихово

Ах, подруженьки, как скучно! Если я врач, то мне нужны больные и больница; если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке с мангусом. Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни, хоть маленький кусочек, а эта жизнь в четырех стенах без природы, без людей, без отечества, без здоровья и аппетита — это не жизнь, а какой-то <...> и больше ничего.

Чехов — А. С. Суворину, 20 октября 1891 г. Москва

В первый раз я попала в Мелихово приблизительно через год после того, как эта маленькая, заброшенная усадебка была куплена. Чехов купил ее за глаза, даже не осматривая. В то время она состояла из запущенного сада, земли с множеством пустырей и неуютного дома. Через год после покупки усадьбы нельзя было узнать. Вся семья взялась дружно за работу: кто занялся садом, кто огородом, кто посевами, при помощи двух работников не покладая рук чистили, сажали, сеяли... У всех Чеховых есть одно свойство: их, как говорится, “слушаются” растения и цветы — “хоть палку воткни, вырастет”, — говорил А. П. Он сам был страстный садовод и говорил, так же как Чайковский, что мечта его жизни, “когда он не сможет больше писать”, — заниматься садом. Дом был весь приведен в порядок, заново окрашен, оклеен, кое-где перестроен, выведена отдельная кухня. Мелихово стало настоящей “чеховской усадьбой”: не романтический тургеневский уголок с беседкой “Миловидой” и “Эоловой арфой”, не щедринская деревня с страшными воспоминаниями — но и не “дача”, хотя все и было новое. Новый низкий дом без всякого стиля, но с собственным уютом. Лучшая комната отведена была А. П. под кабинет. Большая, с огромными венецианскими окнами, с тамбуром, чтобы не дуло, с камином и большим турецким диваном. Зимой окна до половины заносило снегом. Иногда зайцы заглядывали в них из сугробов, становясь на задние лапки, причем Чехов говорил Лике, что это они любуются на нее. А весной — в окна смотрели цветущие яблони, за которыми

ухаживал сам А. П. Он, между прочим, особенно любил цветущие яблони и вишни, и в своей пьесе “Вишневый сад” больше всего ценил ее название. Цветение фруктовых деревьев вызывало в нем какие-то радостные ассоциации — может быть, сады его детства в южном городке, но когда он смотрел на бело-розовые яблони, у него были ласковые и счастливые глаза.

В доме было комнат девять-десять, и когда А. П. в первый раз показывал мне его, — то меня обвели кругом дома раза три, и каждый раз он называл комнаты по-иному: то, положим, “проходная”, то “пушкинская” — по большому портрету Пушкина, висевшему в ней, — то “для гостей”, или “угловая” — она же “диванная”, она же — “кабинет”. А. П. объяснял, что так в провинциальных театрах, когда не хватает “толпы” или “воинов”, одних и тех же статистов проводят через сцену по нескольку раз — то пешком, то бегом, то поодиночке, то группами... чтобы создать впечатление многочисленности. Позже этим способом великолепно воспользовался Станиславский в “Юлии Цезаре”, и я вспомнила шутку Чехова.

Т. Л. Щепкина-Куперник. О Чехове

Жить в деревне неудобно, началась несносная распутица, но в природе происходит нечто изумительное, трогательное, что окупает своею поэзией и новизною все неудобства жизни. Каждый день сюрпризы один лучше другого. Прилетели скворцы, везде журчит вода, на проталинах уже зеленеет трава. День тянется, как вечность. Живешь, как в Австралии, где-то на краю света; настроение покойное, созерцательное и животное в том смысле, что не жалеешь о вчерашнем и не ждешь завтрашнего. Отсюда издали люди кажутся очень хорошими, и это естественно, потому что, уходя в деревню, мы прячемся не от людей, а от своего самолюбия, которое в городе около людей бывает несправедливо и работает не в меру. Глядя на весну, мне ужасно хочется, чтобы на том свете был рай.

Чехов — А. С. Суворину, 17 марта 1892 г. Москва

Собравши плоды земные, мы тоже теперь сидим и не знаем, что делать. Снег. Деревья голые. Куры жмутся к одному месту. Чревоугодие и спанье утеряли свою прелесть; не радуют взора ни жареная утка, ни соленые грибы. Но как это ни странно, скуки совсем нет. Во-первых, просторно, во-вторых, езда на санях, в-третьих, никто не лезет с рукописями и с разговорами, и, в-четвертых, сколько мечтаний насчет весны! Я посадил 60 вишен и 80 яблонь. Выкопали новый пруд, который к весне наполнится водой на целую сажень. В головах кишат планы. Да, атавизм — великая штука. Коли деды и прадеды жили в деревне, то внукам безнаказанно нельзя жить в городе. В сущности, какое несчастье,

что мы с детства не имели своего угла.

Чехов — Ал. П. Чехову, 21 октября 1892 г. Мелихово

У меня умер отец. Выскочила главная шестерня из мелиховского механизма, и мне кажется, что для матери и сестры жизнь в Мелихове утеряла теперь всякую прелесть и что мне придется устраивать для них теперь новое гнездо. И это весьма вероятно, так как зимовать в Мелихове я уже не буду, а без мужчин в деревне не управиться.

Чехов — М. О. Меньшикову, 20 октября 1898 г. Ялта

Толстой

Случалось, что собирались у него люди самых различных рангов: со всеми он был одинаков, никому не оказывал предпочтения, никого не заставлял страдать от самолюбия, чувствовать себя забытым, лишним. И всех неизменно держал на известном расстоянии от себя.

Чувство собственного достоинства, независимости было у него очень велико.

— Боюсь только Толстого. Ведь подумайте, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте!

— Серьезно, я его боюсь, — говорит он, смеясь и как бы радуясь этой боязни.

И однажды чуть не час решал, в каких штанах поехать к Толстому. Сбросил пенсне, помолодел и, мешая, по своему обыкновению, шутку с серьезным, все выходил из спальни то в одних, то в других штанах:

— Нет, эти неприлично узки! Подумает: щелкопер!

И шел надевать другие, и опять выходил, смеясь:

— А эти шириной с Черное море! подумает: нахал...

И. А. Бунин. Чехов

Вот умрет Толстой, все к черту пойдет! — говорил он не раз.

— Литература?

— И литература.

И. А. Бунин. Чехов

Говоря о Толстом, он как-то сказал:

— Чем я особенно в нем восхищаюсь, так это его презрением ко всем нам, прочим писателям, или, лучше сказать, не презрением, а тем, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто. Вот он иногда хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня... Отчего хвалит? Оттого, что он смотрит на нас, как на детей. Наши повести, рассказы, романы для него детские игры, и поэтому он, в сущности, одними глазами глядит и на Мопассана, и на Семенова. Вот Шекспир — другое дело. Это уже взрослый и раздражает его, что пишет не по-толстовски...

И. А. Бунин. Чехов

И, помолчав, вдруг заливался радостным смехом:

— Знаете, я недавно у Толстого в Гаспре был. Он еще в постели лежал, но много говорил обо всем, и обо мне, между прочим. Наконец я встаю, прощаюсь. Он задерживает мою руку, говорит: “Поцелуйте меня”, и, поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху и этакой энергичной старческой скороговоркой: “А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир скверно писал, а вы еще хуже!”

И. А. Бунин. Чехов

Чехову, по телефону:

— Сегодня у меня такой хороший день, так радостно душе, что мне хочется, чтоб и вам было радостно. Особенно — вам! Вы очень хороший, очень!

М. Горький. Лев Толстой

— Вот вы,— он обратился к Чехову,— вы русский! Да, очень, очень русский.

И, ласково улыбаясь, обнял А. П. за плечо, а тот сконфузился и начал баском говорить что-то о своей даче, о татарах.

Чехова он любил и всегда, глядя на него, точно гладил лицо А. П. взглядом своим, почти нежным в эту минуту. Однажды А. П. шел по дорожке парка с Александрой Львовной, а Толстой, еще больной в ту пору, сидя в кресле на террасе, весь как-то потянулся вслед им, говоря вполголоса:

— Ах, какой милый, прекрасный человек: скромный, тихий, точно барышня! И ходит, как барышня. Просто — чудесный!

М. Горький. Лев Толстой

О Чехове, которого ласково и нежно любил:

— Ему мешает медицина, не будь он врачом,— писал бы еще лучше.

М. Горький. Лев Толстой

Как-то при мне Толстой восхищался рассказом Чехова, кажется — “Душенькой”. <“Душечкой”> Он говорил:

— Это — как бы кружево, сплетенное целомудренной девушкой; были в старину такие девушки-кружевницы, “вековуши”, они всю жизнь свою, все мечты о счастье влагали в узор. Мечтали узорами о самом милом, всю неясную, чистую любовь свою вплетали в кружево, — Толстой говорил очень волнуясь, со слезами на глазах. А у Чехова в этот день была повышенная температура, он сидел с красными пятнами на щеках и, наклоня голову, тщательно протирал пенсне. Долго молчал, наконец, вздохнув, сказал тихо и смущенно:

— Там — опечатки...

М. Горький. А. П. Чехов

И теперь уже получил два письма от революционеров. Один цитирует Чехова. “Надо учиться, учиться науке спасения”. Искусственная, насилу придуманная фраза, которой Чехов закончил какой-то рассказ. Они видят в Чехове… таинственные пророчества. Я в Чехове вижу художника, они — молодежь — учителя, пророка. А Чехов учит, как соблазнять женщин.

Д. П. Маковицкий. У Толстого. Яснополянские записки

Бунин

В середине февраля <1901> — как я теперь вижу по письмам — Антон Павлович вернулся домой. Я переехал в гостиницу “Ялта”, пережил очень неприятную ночь, — рядом в номере лежала покойница... Чехов, поняв, что я перечувствовал за эту ночь, слегка надо мной подшучивал...

Он настаивал, чтобы я бывал у него ежедневно с самого утра. И в эти дни мы особенно сблизились, хотя и не переходили какой-то черты, — оба были сдержанны, но уже крепко любили друг друга. У меня ни с кем из писателей не было таких отношений, как с Чеховым. За все время ни разу ни малейшей неприязни. Он был неизменно со мной сдержанно нежен, приветлив, заботился как старший, — я почти на одиннадцать лет моложе его, — но в то же время никогда не давал чувствовать свое превосходство и всегда любил мое общество, — теперь я могу это сказать, так как это подтверждается его письмами к близким: “Бунин уехал, и я один”.

По утрам пили чудный кофе. Потом сидели в садике, где он всегда что-нибудь делал в цветнике, или около плодовых деревьев. Шли разговоры о деревне, я представлял в лицах мужиков, помещиков, рассказывал о жизни своей в Полтаве, об увлечении толстовством, а он о жизни на Луке в имении Линтваревых, оба мы восхищались Малороссией (тогда так называлась Украина). Мы оба бывали в Святогорском монастыре,

в гоголевских местах.

Наедине со мной он часто смеялся своим заразительным смехом, любил шутить, выдумывать разные разности, нелепые прозвища; как только ему становилось лучше, он был неистощим на все это.

Иногда мы выдумывали вместе рассказы: то о захудалом чиновнике-деспоте, а то чувствительную повесть с героинями по имени Ирландия, Австралия, Невралгия, Истерия — все в таком роде, — блеска у него было много. Иногда я представлял пьяного. На карточке любительской, — не помню, кем снятой, — в его кабинете мы сидим — он в кресле, а я на ручке кресла — у него смеющееся лицо, у меня злое, осовелое — я изо-бражаю пьяного. Иногда я читал ему его старые рассказы. Он как раз готовил их к изданию, и я часто видел, как он перемарывал рассказ, чуть не заново его писал.

Как-то я выбрал и начал вслух читать его давнишний рассказ, написанный в 1886 году, “Ворона”.

Сначала Антон Павлович хмурился, но по мере того, как развивалось действие, делался все благодушнее, понемногу стал улыбаться, смеяться. Правда, пьяных я умел изображать.

И. А. Бунин. Чехов

В одном углу литературный спор, в саду, как школьники, занимались тем, кто дальше бросит камень, в третьей кучке И. А. Бунин с необыкновенным талантом представляет что-то, а там, где Бунин, непременно стоит Антон Павлович и хохочет, помирает от смеха. Никто так не умел смешить Антона Павловича, как И. А. Бунин, когда он был в хорошем настроении.

К. С. Станиславский. А. П. Чехов в Художественном театре

Тихая, сознательная покорность отражалась в его глазах.

— А Бунину передайте, чтобы писал и писал. Из него большой писатель выйдет. Так и скажите ему это от меня. Не забудьте.

Сомневаться в том, что мы видимся в последний раз, не приходилось.

Н. Д. Телешов. А. П.Чехов

Последнее письмо я получил от него из-за границы, в середине июня 1904 года, живя в деревне. Он писал, что чувствует он себя недурно, заказал себе белый костюм, огорчается только за Японию, “чудесную страну”, которую, конечно, разобьет и раздавит Россия. Четвертого июля я поехал верхом в село на почту, взял там газеты, письма и завернул в кузницу перековать лошади ногу. Был жаркий и сонный степной день, с тусклым блеском неба, с горячим южным ветром. Я развернул газету, сидя на пороге кузнецовой избы, — и вдруг

точно ледяная бритва полоснула мне по сердцу...

И. А. Бунин. Чехов

Горький

Вы самоучка? В своих рассказах вы вполне художник, притом интеллигентный по-настоящему. Вам менее всего присуща именно грубость, Вы умны и чувствуете тонко и изящно. Ваши лучшие вещи “В степи” и “На плотах” — писал ли я Вам об этом? Это превосходные вещи, образцовые, в них виден художник, прошедший очень хорошую школу. Не думаю, что я ошибаюсь. Единственный недостаток - нет сдержанности, нет грации. Когда на какое-нибудь определенное действие человек затрачивает наименьшее количество движений, то это грация. В ваших же затратах чувствуется излишество.

Описания природы художественны; Вы настоящий пейзажист. Только частое уподобление человеку (антропоморфизм), когда море дышит, небо глядит, степь нежится, природа шепчет, говорит, грустит и т. п.,— такие уподобления делают описания несколько однотонными, иногда слащавыми, иногда неясными; красочность и выразительность в описаниях природы достигаются только простотой, такими простыми фразами, как “зашло солнце”, “стало темно”, “пошел дождь” и т. д., — и эта простота свойственна Вам в сильной степени, как редко кому из беллетристов.

Чехов — М. Горькому, 3 января 1899 г. Ялта

У Вас плеврит? Если так, то зачем Вы сидите в Нижнем? Зачем? Что Вам нужно в этом Нижнем, кстати сказать? Какая смола приклеила Вас к этому городу? Если Вам, как Вы пишете, нравится Москва, то отчего Вы не живете в Москве? В Москве — театры и проч., и проч., а главное — из Москвы рукой подать за границу, а живя в Нижнем, Вы так и застрянете в Нижнем и дальше Васильсурска не поедете. Вам надо больше видеть, больше знать, шире знать. Воображение у Вас цепкое, ухватистое, но оно у Вас как большая печка, которой не дают достаточно дров. Это чувствуется вообще, да и в отдельности в рассказах; в рассказе Вы даете две-три фигуры, но эти фигуры стоят особнячком, вне массы; видно, что фигуры сии живут в Вашем воображении, но только фигуры, масса же не схвачена. Исключаю из сего Ваши крымские вещи (напр., “Мой спутник”), где, кроме фигур, чувствуется и человеческая масса, из которой они вышли, и воздух, и дальний план, одним словом — все. Видите, сколько я наговорил Вам — и это чтоб Вы не сидели в Нижнем. Вы человек молодой, сильный, выносливый, я бы на Вашем месте в Индию укатил, черт знает куда, я бы еще два факультета прошел. Я бы, да я бы — Вы смеетесь, а мне так обидно, что мне уже 40, что у

меня одышка и всякая дрянь, мешающая жить свободно. Как бы ни было, будьте добрым человеком и товарищем, не сердитесь, что я в письмах читаю Вам наставления, как протопоп.

Чехов — М. Горькому, 3 февраля 1900 г. Ялта

В Индию я не поеду, хотя очень бы это хорошо. И за границу не поеду. А вот пешечком по России собираюсь с одним приятелем. С конца апреля думаем двинуть себя в южные страны, на Дунай пойдем, к Черному морю и т. д. В Нижнем меня ничто не держит, я одинаково нелепо везде могу устроиться. Поэтому и живу в Нижнем. Впрочем, недавно чуть-чуть не переехал на жительство в Чернигов. Почему? Знакомых там нет ни души.

Мне ужасно нравится, что Вы в письмах ко мне — "как протопоп", "читаете наставления", — я уже говорил Вам, что это очень хорошо. Вы относитесь ко мне лучше всех "собратий по перу" — это факт. <...>

Знаете — ужасно неприятно читать в Ваших письмах, что Вы скучаете. Вам это, видите ли, совсем не подобает и решительно не нужно. Вы пишете: "мне уже 40 лет". Вам только еще 40 лет! А между тем какую уйму Вы написали и как написали. Вот оно что! Это ужасно трагично, что все русские люди ценят себя ниже действительной стоимости.

М. Горький — Чехову, 11 или 12 февраля 1900 г. Н. Новгород

Читал я мужикам "В овраге". Если б Вы видели, как это хорошо вышло! Заплакали хохлы, и я заплакал с ними. Костыль понравился им — черт знает до чего! Так что один мужик, Петро Дерид, даже выразил сожаление, что мало про того Костыля написано. Липа понравилась, старик, который говорит "велика матушка Россия". Да, славно все это вышло, должен я сказать. Всех простили мужики — и старого Цыбукина, и Аксинью, всех! Чудесный Вы человек, Антон Павлович, и огромный Вы талантище.

М. Горький — Чехову. Первая половила июля 1900 г. Мануйловка

О Чехове можно написать много, но необходимо писать о нем очень мелко и четко, чего я не умею. Хорошо бы написать о нем так, как сам он написал "Степь", рассказ ароматный, легкий и такой, по-русски, задумчиво грустный. Рассказ — для себя.

Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл.

Человек — ось мира.

А — скажут — пороки, а недостатки его?

Все мы голодны любовью к человеку, а при голоде и плохо выпеченный хлеб — сладко питает.

М. Горький. А. П. Чехов

Женщины

Интимная жизнь Чехова почти неизвестна. Опубликованные письма не вскрывают ее. Но, несомненно, она была сложная. Несомненно, до позднего брака с Книппер Чехов не раз не только увлекался, но и любил “горестно и трудно”.

Только любивший человек мог написать “Даму с собачкой” и “О любви”, где огнем сердца выжжены слова:

“Когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе”.

Кажется, в тот же вечер Чехов сказал мне:

— Неверно, что с течением времени всякая любовь проходит. Нет, настоящая любовь не проходит, а приходит с течением времени. Не сразу, а постепенно постигаешь радость сближения с любимой женщиной. Это как с хорошим старым вином. Надо к нему привыкнуть, надо долго пить его, чтобы понять его прелесть.

Прекрасна, возвышенна мысль о любви, возрастающей с течением времени, но низменно сравнение женщины с вином. Смешение возвышенного с низменным — пошлость. Пошлость не была чужда Чехову. Да и кому она чужда?! Если бы в душе Чехова не смешивалось иногда возвышенное с низменным, то он этого бы смешения, этой пошлости не мог бы замечать и в душах других, а замечал он хорошо.

В. А. Поссе. <Воспоминания о Чехове>

Тайны любви постиг я, будучи 13 лет.

В. А. Тихонову, 22 февраля 1892 г. Москва

Кстати сказать, супруги Мережковские на сих днях уезжают в Ниццу. M-me Гиппиус, вероятно, прыгает от радости. Но боже, какая скука ехать в Ниццу затем, чтобы у одра Алексея Николаевича непрерывно говорить о литературе! Положение хуже онегинского. Восторженный и чистый душою Мережковский хорошо бы сделал, если бы свой quasi-гётевский режим, супругу и “истину” променял на бутылку доброго вина, охотничье ружье и хорошенькую женщину. Сердце билось бы лучше.

Чехов — А. С. Суворину, 1 марта 1892 г. Москва

Фю-фю! Женщины отнимают молодость, только не у меня. В своей жизни я был приказчиком, а не хозяином, и судьба меня мало баловала. У меня было мало романов, и я так же похож на Екатерину, как орех на броненосец. <…> Я чувствую расположение к комфорту, разврат же не манит меня…

Чехов — А. С. Суворину, 21 января 1895 г. Мелихово

Как относился Чехов к женщинам? Для романистов знание женской души то же, что знание тела для скульптора. Не время,

конечно, говорить об этой стороне жизни Чехова. В своей родной семье он мог наблюдать на редкость милые, прекрасные женские типы. Я был не раз свидетелем самого восторженного восхищения, какое Чехов вызывал у очаровательных девушек. Вероятно, он имел бы ошеломляющий “успех” у дам разного круга, если бы это было не ниже его души. Заметно было, что Чехову любовь — как и Тургеневу — давалась трудно. Вкушая, он здесь “вкусил мало меда”... Лет девять назад он говорил мне: “Вот что такое любовь: когда вы будете знать, что к вашей возлюбленной пришел другой и что он счастлив; когда вы будете бродить около дома, где они укрылись; когда вас будут гнать как собаку, а вы все-таки станете ходить вокруг и умолять, чтобы она пустила вас на свои глаза — вот это будет любовь”. А через пять лет мы как-то поздним вечером ехали из Гурзуфа в Ялту. Стояла чудная ночь. Глубоко внизу под ногами лежало сонное море, и — точно горсть бриллиантов — горели огоньки Ялты. Чехов сидел крайне грустный и строгий, в глубокой задумчивости. “Что такое любовь?” — спросил наш спутник в разговоре со мной. “Любовь — это когда кажется то, чего нет”, — вставил мрачно Чехов и замолк.

М. О. Меньшиков. Памяти А. П. Чехова

Была ли в его жизни хоть одна большая любовь? Думаю, что нет. “Любовь, — писал он в своей записной книжке, - это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь”.

И. А. Бунин. Чехов

Эротика

Теперь же позвольте отгрызнуться на Вашу критику... Даже Ваша похвала “На пути” не смягчила моего авторского гнева, и я спешу отмстить за “Тину”. Берегитесь и, чтобы не упасть в обморок, возьмитесь покрепче за спинку стула. Ну, начинаю... <...>

Прежде всего, я так же, как и Вы, не люблю литературы того направления, о котором у нас с Вами идет речь. Как читатель и обыватель я охотно сторонюсь от нее, но если Вы спросите моего честного и искреннего мнения о ней, то я скажу, что вопрос о ее праве на существование еще открыт и не решен никем, хотя Ольга Андреевна и думает, что решила его. У меня, и у Вас, и у критиков всего мира нет никаких прочных данных, чтобы иметь право отрицать эту литературу. Я не знаю, кто прав: Гомер, Шекспир, Лопе де Вега, вообще древние, не боявшиеся рыться в “навозной куче”, но бывшие гораздо устойчивее нас в

нравственном отношении, или же современные писатели, чопорные на бумаге, но холодно-циничные в душе и в жизни? Я не знаю, у кого плохой вкус: у греков ли, к<ото>рые не стыдились воспевать любовь такою, какова она есть на самом деле в прекрасной природе, или же у читателей Габорио, Марлита, Пьера Бобо? Подобно вопросам о непротивлении злу, свободе воли и проч., этот вопрос может быть решен только в будущем. Мы же можем только упоминать о нем, решать же его - значит выходить из пределов нашей компетенции. Ссылка на Тургенева и Толстого, избегавших “навозную кучу”, не проясняет этого вопроса. Их брезгливость ничего не доказывает; ведь было же раньше них поколение писателей, считавшее грязью не только “негодяев с негодяйками”, но даже и описание мужиков и чиновников ниже титулярного. Да и один период, как бы он ни был цветущ, не дает нам права делать вывод в пользу того или другого направления. Ссылка на развращающее влияние названного направления тоже не решает вопроса. Всё на этом свете относительно и приблизительно. Есть люди, к<ото>рых развратит даже детская литература, которые с особенным удовольствием прочитывают в псалтири и в притчах Соломона пикантные местечки, есть же и такие, которые чем больше знакомятся с житейскою грязью, тем становятся чище. Публицисты, юристы и врачи, посвященные во все тайны человеческого греха, неизвестны за безнравственных; писатели-реалисты чаще всего бывают нравственнее архимандритов. Да и в конце концов, никакая литература не может своим цинизмом перещеголять действительную жизнь; одною рюмкою Вы не напоите пьяным того, кто уже выпил целую бочку.

Чехов — М. В. Киселевой, 14 января 1887 г. Москва

С Благовещенска начинаются японцы, или, вернее, японки. Это маленькие брюнетки с большой мудреной прической, с красивым туловищем и, как мне показалось, с короткими бедрами. Одеваются красиво. В языке их преобладает звук “тц”. Когда из любопытства употребляешь японку, то начинаешь понимать Скальковского, который, говорят, снялся на одной карточке с какой-то японской б - - - -ю. Комнатка у японки чистенькая, азиатско-сентиментальная, уставленная мелкими вещичками, ни тазов, ни каучуков, ни генеральских портретов. Постель широкая, с одной небольшой подушкой. На подушку ложитесь вы, а японка, чтобы не испортить себе прическу, кладет под голову деревянную подставку. Затылок ложится на вогнутую часть. Стыдливость японка понимает по-своему. Огня она не тушит и на вопрос, как по-японски называется то или другое, она отвечает прямо и при этом, плохо понимая русский язык,

указывает пальцами и даже берет в руки, и при этом не ломается и не жеманится, как русские. И все это время смеется и сыплет звуком “тц”. В деле выказывает мастерство изумительное, так что вам кажется, что вы не употребляете, а участвуете в верховой езде высшей школы. Кончая, японка тащит из рукава зубами листок хлопчатой бумаги, ловит вас за “мальчика” (помните Марию Крестовскую?) и неожиданно для вас производит обтирание, причем бумага щекочет живот. И все это кокетливо, смеясь, напевая и с “тц”...

Чехов — А. С. Суворину, 27 июня 1890 г. Благовещенск

Мы, старые холостяки, пахнем, как собаки? Пусть так. Но насчет того, что врачи по женским болезням в душе селадоны и циники, позвольте поспорить. Гинекологи имеют дело с неистовой прозой, которая Вам даже не снилась и которой Вы, быть может, если б знали ее, со свирепостью, свойственною Вашему воображению, придали бы запах хуже, чем собачий. Кто постоянно плавает в море, тот любит сушу; кто вечно погружен в прозу, тот страстно тоскует по поэзии. Все гинекологи идеалисты. Ваш доктор читает стихи — чутье подсказало Вам правду; я бы прибавил, что он большой либерал, немножко мистик и мечтает о жене во вкусе некрасовской русской женщины. Известный Снегирев говорит о “русской женщине” не иначе как с дрожью в голосе. Другой гинеколог, которого я знаю, влюблен в какую-то таинственную незнакомку под вуалью, которую он видел издали. Третий ходит в театр на все первые представления и потом громко бранится около вешалок, уверяя, что авторы обязаны изображать одних только идеальных женщин и т. д. Вы упустили также из виду, что хорошим гинекологом не может быть глупый человек или посредственность. Ум, хотя бы семинарский, блестит ярче, чем лысина, а Вы лысину заметили и подчеркнули, а ум бросили за борт. Вы заметили также и подчеркнули, что толстый человек — бррр! — выделяет из себя какой-то жир, но совершенно упустили из виду, что он профессор, т. е. что он несколько лет думал и делал что-то такое, что поставило его выше миллионов людей, выше всех верочек и таганрогских гречанок, выше всяких обедов и вин. У Ноя было три сына: Сим, Хам и, кажется, Афет. Хам заметил только, что отец его пьяница, и совершенно упустил из виду, что Ной гениален, что он построил ковчег и спас мир. Пишущие не должны подражать Хаму. Намотайте это себе на ус. Я не смею просить Вас, чтобы Вы любили гинеколога и профессора, но смею напомнить о справедливости, которая для объективного писателя нужнее воздуха.

Чехов — Е. М. Шавровой, 16 сентября 1891 г. Москва

Женщины, которые употребляются, или, выражаясь по-московски, тараканятся на каждом диване, не суть бешеные, это дохлые кошки, страдающие нимфоманией. Диван — очень неудобная мебель. Его обвиняют в блуде чаще, чем он того заслуживает. Я раз в жизни только пользовался диваном и проклял его. Распутных женщин я видывал и сам грешил многократно, но Золя и той даме, которая говорила “хлоп — и готово”, я не верю. Распутные люди и писатели считают себя гастрономами и знатоками блуда; они смелы, решительны, находчивы, употребляют по 33 способа, чуть ли не на лезвии ножа, но все это только на словах, на деле же они употребляют кухарок и ходят в рублевые дома терпимости. Все писатели врут. Употребить даму в городе не так легко, как они пишут. Я не видел ни одной квартиры (порядочной, конечно), где бы позволяли обстоятельства повалить одетую в корсет, юбки и в турнюр женщину на сундук, на диван или на пол и употребить ее так, чтобы не заметили домашние. Все эти термины вроде “встоячку”, “всидячку” и проч. — вздор. Самый легкий способ — это постель, а остальные 33 трудны и удобоисполнимы только в отдельном номере или в сарае. Роман с дамой из порядочного круга — процедура длинная. Во-первых, нужна ночь. Во-вторых, вы едете в “Эрмитаж”. В-третьих, в “Эрмитаже” вам говорят, что номеров нет, и вы едете искать другое пристанище. В-четвертых, в номере ваша дама падает духом, дрожит и восклицает: “Ах, боже мой, что я делаю?! Нет! Нет!”, добрый час идет на раздевание и на слова. В-пятых, дама ваша на обратном пути имеет такое выражение, как будто вы ее изнасиловали, и все время бормочет: “Нет, никогда себе этого не прощу!” Все это не похоже на “хлоп – и готово!” Конечно, бывают случаи, когда человек грешит, точно стреляет — пиф! паф! и готово, — но эти случаи не так часты, чтобы о них стоило говорить.

Чехов — А. С. Суворину, 12 июня 1894 г. Москва

Я ничего не делаю, только сплю, ем и приношу жертвы богине любви. Теперешняя моя француженка — очень милое доброе создание, 22 лет, сложена удивительно, но все это мне уже немножко прискучило и хочется домой. Да и лень трепаться по чужим лест-ницам.

Чехов — А. С. Суворину, 27 января (8 февраля) 1898 г. Ницца

На пароходе <Севастополь — Ялта> Чехов ужасно возмущался продажей порнографических карточек на открытых письмах.

— Вы знаете*, во Франции* даже продажа этих вещей карается уголовными законами. Эти мерзости окончательно портят вкус.

Б. А. Лазаревский. Дневник, 22 августа 1901 г.

О женщинах он <Толстой> говорит охотно и много, как французский романист, но всегда с тою грубостью русского мужика, которая — раньше — неприятно подавляла меня. Сегодня в Миндальной роще он спросил Чехова: — Вы сильно распутничали в юности?

А. П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное, а Л. Н., глядя в море, признался:

— Я был неутомимый...

Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь.

М. Горький. Лев Толстой

Великий знаток женской души, психолог-атомист, интеллигентнейший друг русской женщины, Антон Павлович Чехов в жизни многим казался грубым в своих личных откровенно-материальных взглядах на женщину. Многим — Аркадиям Николаевичам Кирсановым, любителям говорить красиво. Действительно, сам Чехов по этой части иногда произносил слова весьма резкие и совершенно лишенные “условных лжей”. Медик и физиолог, внук Базарова, сидел в нем крепко и не допускал самообманов. Человек вполне достоверный, личный и литературный друг А. П. Чехова рассказывал мне, что однажды в его присутствии, когда несчастный муж жаловался Антону Павловичу на ссоры свои с женою и спрашивал совета, как спасти готовый рухнуть брак, Чехов долго и участливо допрашивал этого горемыку обо всех тайных подробностях его супружеской жизни, а потом, присев к столу, написал рецепт какого-то средства, укрепляющего половую энергию:

— Попробуйте-ка вот так! <…>

В письмах Чехова некоторые пропуски указывают по содержанию как будто на то, что в подлиннике тут были пущены в ход цинические выражения. Это меня очень удивляет, потому что я никогда за все 22 года знакомства нашего не слыхал, чтобы Чехов говорил нехорошие слова или вел фривольный разговор на цинические темы. <…> Вообще, “эротомана” и “сладострастника” не было в мещанской крови Чехова ни капли. Он был больной человек, но — здоровая кровь.

А. В. Амфитеатров. Из записной книжки

Два процитированных фрагмента писем Суворину (благовещенский и московский) и еще несколько подобных мест не попали даже в академическое собрание его сочинений и стали

широко известны лишь в 1991 году благодаря публикации А. П. Чудакова. Потом они были растиражированы как сенсация в многочисленных желтых изданиях и интернет-журналах.

И это понятно: ничего сенсационного в других обстоятельствах чеховской жизни даже с лупой обнаружить не удается: он не ссорился с властями, не стрелялся с друзьями, в его смерти невозможно обвинить ни царскую охранку, ни немецкую разведку. Остается эксплуатировать "любовные похождения".

Отношение советской цензуры к откровенности чеховских эротических описаний напоминало реакцию старой девы, закрывающей неприличные места от племянника-подростка ладошкой многоточий.

Позднее некоторые исследователи, журналисты и даже сочинители сделались похожими как раз на таких вырвавшихся на свободу, сбежавших от тети-ханжи дикарей, впервые увидевших "это" через дыру в заборе и с каким-то непонятым восторгом, прыжками и хихиканьем кричавших о чеховских любовных подвигах и эротических страстях городу и миру, а попутно лягавших "старорежимных чеховедов", которые скрывали правду о писателе (между тем цензуровали чеховское собрание не исследователи; они как раз долго, но безуспешно боролись за полного Чехова).

Оказывается, большевики прятали от народа не только подлинную могилу Пушкина (см. довлатовский "Заповедник"), но и настоящего Чехова! Доказывать эту богатую мысль приходится бесконечно тасуя если не две, то два десятка цитат, скрывая от "народа" как раз все остальное.

То, что Чехов в юности был красив, пользовался большим успехом у женщин, не было секретом уже для его современников (см. приведенные выше фрагменты в разделах "Портрет" и "Женщины").

Как и то, что он долго решал свои мужские проблемы вне брачных уз.

Как и то, что как профессиональный врач он сдавал экзамены по акушерству и гинекологии, а позднее, в отличие от некоторых своих исследователей, получающих консультации у специалистов, имел дело с женскими болезнями.

Но, даже обсуждая эротические темы в мужской частной переписке, не рассчитанной на посторонний взгляд, Чехов остается верен кодексу порядочного человека. Он никогда не называет имен женщин из своего круга, с которыми имел отношения. Визит к профессиональной гейше или общее физиологическое рассуждение — другое дело.

Но и здесь он остается художником, находя стилистическую нишу между откровенным похабством и перифрастической

невнятицей. Его этнографическо-эротиче-ское описание точно, но не пошло. Это материал для литературных наблюдений, а не биографических разоблачений.

Тем же, кто смотрит на чужую жизнь через щель в заборе, приходится неизбежно выдавать часть за целое; претендуя на раскрытие голой правды, постоянно прибегать к домыслам и догадкам.

Лика

У нашей сестры Марии Павловны была подруга Лидия Стахиевна Мизинова, очаровательная девушка, которую сестра в шутку представляла так: “Подруга моих братьев и моя”. И действительно, эта Лидия Стахиевна, или, как все мы ее звали, Лика, была нашим лучшим другом. Я не скажу, чтобы кто-нибудь из нас, братьев, пылал к ней, но нам было с нею весело, и мы без нее скучали. Она обладала необыкновенным даром понимать шутки и отвечать на них еще более острыми и более удачными шутками. Она никогда не хныкала, не жаловалась и всегда была весела, хотя мы и знали отлично, как иногда тяжело ей приходилось в жизни. Когда она приезжала к нам, то у нас все оживало, и даже отец наш Павел Егорович подсаживал ее к себе и угощал настоечкой из березовых почек.

М. П. Чехов. Антон Чехов на каникулах

Лика была девушка необыкновенной красоты. Настоящая “Царевна-Лебедь” из русских сказок. Ее пепельные вьющиеся волосы, чудесные серые глаза под “соболиными” бровями, необычайная женственность, и мягкость, и неуловимое очарование в соединении с полным отсутствием ломанья и почти суровой простотой делали ее обаятельной, но она как будто не понимала, как она красива, стыдилась и обижалась, если при ней об этом кто-нибудь из компании Кувшинниковой с бесцеремонностью художников заводил речь. Однако она не могла помешать тому, что на нее оборачивались на улице и засматривались в театре.

Т. Л. Щепкина-Куперник. О Чехове

28 июня, 4 часа утра

Снится ли Вам Левитан с черными глазами, полными африканской страсти? Продолжаете ли Вы получать письма от Вашей семидесятилетней соперницы и лицемерно отвечать ей? В Вас, Лика, сидит большой крокодил, и, в сущности, я хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не сердца, которое Вы укусили. Дальше, дальше от меня! Или нет, Лика, куда ни шло: позвольте моей голове закружиться от Ваших духов и помогите мне крепче затянуть аркан, который Вы уже забросили мне на шею.

Воображаю, как злорадно торжествуете и как демонски хохочете Вы, читая эти строки... Ах, я, кажется, пишу глупости. Порвите это письмо. Извините, что письмо так неразборчиво написано, и не показывайте его никому. Ах, ах!

Мне Басов писал, что Вы опять стали курить. Это подло, Лика. Презираю Ваш характер.

Каждый день идут дождики, но земля все-таки сухая.

Ну, до свиданья, кукуруза души моей. Хамски почтительно целую Вашу коробочку с пудрой и завидую Вашим старым сапогам, которые каждый день видят Вас. Пишите мне о Ваших успехах. Будьте благополучны и не забывайте побежденного Вами

Царя Мидийского.

Чехов — Л. С. Мизиновой, 28 июня 1892 г. Мелихово

А как бы я хотела (если бы могла) затянуть аркан покрепче! Да не по Сеньке шапка! В первый раз в жизни мне так не везет!

Л. С. Мизинова — Чехову, 13 июля 1892 г. Ржев

Вы писали мне, что бросили курить и пить, но курите и пьете. Меня обманывает Лика. Это хорошо. Хорошо в том отношении, что я могу теперь, ужиная с приятелями, говорить: “Меня обманывает блондинка...”

Чехов — Л. С. Мизиновой, 28 декабря 1892 г. Петербург

Я тоже старик. Мне кажется, что жизнь хочет немножко посмеяться надо мной, и потому я спешу записаться в старики. Когда я, прозевавши свою молодость, захочу жить по-человечески и когда мне не удастся это, то у меня будет оправдание: я старик. Впрочем, все это глупо. Простите, Лика, но, право, писать больше не о чем. Мне нужно не писать, а сидеть близко Вас и говорить.

Пойду ужинать.

Чехов — Л. С. Мизиновой, 13 августа 1893 г. Мелихово

Милая Лика, Вы выудили из словаря иностранных слов слово эгоизм и угощаете им меня в каждом письме.

Назовите этим словом Вашу собачку.

Я ем, сплю и пишу в свое удовольствие? Я ем и сплю, потому что все едят и спят; даже Вы не чужды этой слабости, несмотря на Вашу воздушность. Что же касается писанья в свое удовольствие, то Вы, очаровательная, прочирикали это только потому, что не знакомы на опыте со всею тяжестью и с угнетающей силой этого червя, подтачивающего жизнь, как бы мелок он ни казался Вам.

Мне все удается? Да, Лика, все, кроме разве того, что в настоящее время у меня нет ни гроша и что я не вижу Вас. Впрочем, не буду спорить с Вами. Пусть по-Вашему. Не могу только не поделиться с Вами, друг мой, изумлением: что это Вам, ни с того ни с сего, вздумалось продернуть меня?

Чехов — Л. С. Мизиновой, 1 сентября 1893 г. Мелихово

Очень часто Потапенко и Лика гостили в Мелихове в одно время. <…>

Я и Лика подружились с Игнатием Николаевичем. Мы стали называться его “сестрами” и перешли на “ты”. Он был искренен и трогателен в своих отношениях с нами. <…>

И вот, как это нередко бывает в жизни, одна из “сестер”, Лика, начала увлекаться Потапенко. Очень. Может быть, что ей хотелось забыться и освободиться от своего мучительного чувства к Антону Павловичу. Но у Потапенко была семья: жена и две дочери…

Лика и Потапенко стали встречаться и в Москве. В конце концов, постепенно разрастаясь, их увлечение перешло в роман.

Начался самый драматический этап в жизни Лики — роман с Потапенко. Все это происходило у нас в Мелихове и в Москве в зиму 1893/94 года. В начале марта 1894 года Лика и Игнаша, как мы его звали, решили уехать в Париж. <…>

Дальше происходит тривиальное и вместе с тем трагическое: Лика ждет ребенка. Потапенко ее оставляет.

М. П. Чехова. Из далекого прошлого

Вы упорно не отвечаете на мои письма, милая Лика, но я все-таки надоедаю Вам и навязываюсь со своими письмами. Я в Вене. Отсюда поеду в Аббацию, потом на озера. <…> Умоляю Вас, не пишите никому в Россию, что я за границей. Я уехал тайно, как вор, и Маша думает, что я в Феодосии. Если узнают, что я за границей, то будут огорчены, ибо мои частые поездки давно уже надоели.

Я не совсем здоров. У меня почти непрерывный кашель. Очевидно, и здоровье я прозевал так же, как Вас.

Чехов — Л. С. Мизиновой, 18 (30) сентября 1894 г. Вена

Дорогому Антону Павловичу на добрую память о восьмилетних хороших отношениях. *Лика.*

Будут ли дни мои ясны, унылы,
Скоро ли сгину я, жизнь погубя,
Знаю одно, что до самой могилы
Помыслы, чувства, и песни, и силы
Все для тебя!!!
(Чайковский — Апухтин)

Пусть эта надпись Вас скомпрометирует, я буду рада.

Париж, 11 октября 1898 г.

Я могла написать это восемь лет тому назад, а пишу сейчас и напишу через 10 лет.

Л. С. Мизинова — Чехову. Дарственная надпись на фотографии

Но через десять лет Лика не могла повторить эти слова…

Антона Павловича уже не было в живых. Мне не забыть, как в Москве после похорон Антона Павловича Лика, вся в черном, пришла к нам и часа два молча простояла у окна, не отвечая на наши попытки заговорить с ней… Все прошлое, пережитое, должно быть, стояло перед ее глазами.

М. П. Чехова. Из далекого прошлого

Авилова

— Вам надо лечь спать, — сказал Чехов, — вас утомили гости. Вы сегодня не такая, как раньше. Вид у вас равнодушный и ленивый, и вы рады будете, когда я уйду. Да, раньше… помните ли вы наши первые встречи? Да и знаете ли вы?.. Знаете, что я был серьезно увлечен вами? Это было серьезно. Я любил вас. Мне казалось, что нет другой женщины на свете, которую я мог бы так любить. Вы были красивы и трогательны, и в вашей молодости было столько свежести и яркой прелести. Я вас любил и думал только о вас. И когда я увидел вас после долгой разлуки, мне казалось, что вы еще похорошели и что вы другая, новая, что опять вас надо узнавать и любить еще больше, по-новому. И что еще тяжелее расстаться…

Он сидел на диване, откинувшись головой на спинку; я — против него на кресле. Наши колени почти соприкасались. Говорил он тихо, точно гудел своим чудесным басом, а лицо у него было строгое, глаза смотрели холодно и требовательно.

— Знали вы это?

У меня было такое чувство, точно он сердится, упрекает меня за то, что я обманула его; изменилась, подурнела, стала вялая, равнодушная и теперь не интересна, не госте-приимна и, сверх того, устала и хочу спать.

“Кошмар”, — промелькнуло у меня в голове.

— Я вас любил, — продолжал Чехов уже совсем гневно и наклонился ко мне, сердито глядя мне в лицо. — Но я знал, что вы не такая, как многие женщины, которых и я бросал и которые меня бросали; что вас любить можно только чисто и свято на всю жизнь. И вы были для меня святыней. Я боялся коснуться вас, чтобы не оскорбить. Знали ли вы это?

Он взял мою руку и сейчас же оставил ее, как мне казалось, с отвращением.

— О, какая холодная рука!

И сейчас же он встал и посмотрел на часы.

— Половина второго. Я успею еще поужинать и поговорить с Сувориным, а вы ложитесь скорей спать. Скорей.

Он что-то искал глазами на столе, на диване.

— Я, кажется, обещал еще завтра повидаться с вами, но я не успею. Я завтра уезжаю в Москву. Значит, не увидимся.

Л. А. Авилова. А. П. Чехов в моей жизни

Воспоминания Авиловой, написанные с большим блеском, волнением, редкой талантливостью и необыкновенным тактом, были для меня открытием.

Я хорошо знал Лидию Алексеевну, отличительными чертами которой были правдивость, ум, талантливость, застенчивость и редкое чувство юмора даже над самой собой.

Прочтя ее воспоминания, я и на Чехова взглянул иначе, кое-что по-новому мне в нем приоткрылось.

Я и не подозревал о тех отношениях, какие существовали между ними.

И. А. Бунин. О Чехове

О “романе” с Авиловой судить трудно, потому что мы знаем о нем только с ее слов. Не сомневаюсь, что было довольно много дам, считавших, что Чехов к ним неравнодушен, “задет”, “влюблен”, смотря по темпераменту.

Б. К. Зайцев. Чехов

Я передал ему, что Авилова просила передать: “Кланяется старая матушка”. Чехов подумал и сказал: “А действительно она на попадью похожа”.

Б. А. Лазаревский. Дневник, 3 января 1902 г.

Я вовсе не хочу инсинуировать, что я его хорошо знала, что и я была для него хоть чем-нибудь. Нет, я его, вероятно, плохо знала, но он имел такое влияние на всю мою жизнь, я ему так многим обязана. Не могу писать связно и спокойно. Из жизни исчезло что-то до такой степени красивое, светлое и дорогое. Не до фраз...

Простите меня, пожалуйста, если я тревожу Ваше горе. Поверьте мне: если бы я сама не чувствовала этого горя, если бы я не тосковала, если бы я могла совладать с собой — я бы не считала себя вправе к Вам. У меня много его писем. Я не знаю, почему он звал меня “матушка”. Я не видела его пять лет.

И мне некому, некому, кроме Вас, сказать, как это все ужасно, как это все трудно понять, и, когда поймешь, как безотрадно, как трудно жить. Без этих “чувств, изящных и красивых, как цветы”.

Я написала Вам, что у меня много его писем. Но я не знаю, как он относился ко мне. Мне это очень тяжело.

Авилова — М. П. Чеховой, 20 июля 1904 г. Клекотки Тульской губ.

Почти все окружавшие Чехова женщины оказались долгожительницами. Лидия Алексеевна Авилова умерла в 1943 году, в разгар войны, ей было 79 лет.

Про эту придуманную любовь теперь снимается кино.

“**Чайка**”

Перед поднятием занавеса за кулисами поползли неизвестно откуда взявшиеся слухи, что “молодежь” ошикает пьесу. Тогда все толковали, что Антон Павлович не угождает ей своей аполитичностью и дружбой с Сувориным. На настроение большинства артистов этот вздорный, быть может, слух тоже оказал известное давление: что-де можно поделать, когда пьеса заранее обречена на гибель?

Под такими впечатлениями началась “Чайка”.

Как была воспринята пьеса по ту сторону рампы, писалось уже много раз очевидцами этого зрелища. Добавляю от себя, что ни одна, кажется, пьеса так мучительно плохо не исполнялась на сцене Александринского театра и никогда не случалось нам слышать не только шиканья, но именно такого дружного шиканья на попытки аплодисментов и криков “всех” или “автора”. Исполнители погрузились во тьму провала. Но всеми было признано, что над ним ярким светом осталась сиять Комиссаржевская, а когда она выходила раскланиваться перед публикой одна, ее принимали восторженно. И если зрители, пришедшие на бенефис комической артистки вдоволь посмеяться, заодно хохотали над жестом Комиссаржевской с “коленкоровой простыней” (как выразился по этому поводу один из мемуаристов), то в этом артистка неповинна, общее же исполнение “Чайки” не могло способствовать тому, чтобы заставить эту праздную публику радикально изменить настроение.

Не помню, во время которого акта я зашла в уборную бенефициантки, и застала ее вдвоем с Чеховым. Она не то виновато, не то с состраданием смотрела на него своими выпуклыми глазами и даже ручками не вертела. Антон Павлович сидел, чуть склонив голову, прядка волос сползла ему на лоб, пенсне криво держалось на переносье... Они молчали. Я тоже молча стала около них. Так прошло несколько секунд. Вдруг Чехов сорвался с места и быстро вышел.

Он уехал не только из театра, но и из Петербурга.

На втором спектакле произошла волшебная перемена: пьесу прекрасно принимали, раздавались многочисленные крики — “автора”, вызывали “всех”. О восторгах по адресу Комиссаржевской и говорить нечего. Но в общем играли мы “Чайку”, конечно, не лучше и во второй раз.

М. М. Читау. Премьера “Чайки”

Сегодня “Чайка” в Александринском театре. Пьес не имела успеха. Публика невнимательная, неслушающая, кашляющая, разговаривающая, скучающая. Я давно не видал такого представления. Чехов был удручен. В первом часу ночи приехала

к нам его сестра, спрашивала, где он. Она беспокоилась. Мы поехали в театр, к Потапенко, к Левкеевой (у нее собирались артисты на ужин – пьеса шла в ее бенефис за 25-летнюю службу). Нигде его не было. Он пришел в 2 ч. Я пошел к нему, спрашиваю, где вы были. “Я ходил по улицам, сидел. Не мог же я плюнуть на это представление… Если я проживу еще 700 лет, то и тогда не отдам в театр ни одной пьесы. Будет. В этой области мне неудача”. Завтра в 3 ч. хочет ехать. “Пожалуйста, не останавливайте меня, я не могу слушать эти разговоры”.

А. С. Суворин. Дневник, 17 октября 1896 г.

Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. В театре было тяжкое напряжение недоумения и позора. Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда мораль: не следует писать пьес.

Тем не менее все-таки я жив, здоров и пребываю в благоутробии.

Ваш папаша А. Чехов.

М. П. Чехову, 18 октября 1896 г. Петербург

Сегодня во всех газетах, кроме “Нового времени”, торжественно заявляется о провале чеховской “Чайки”, прямо торжественно и притом с каким-то особенным злорадством. Точь-в-точь будто поймали волка, который до поимки его задрал всех скотин.

Н. А. Лейкин. Дневник, 18 октября 1896 г.

В Вашем последнем письме (от 18 окт<ября>) Вы трижды обзываете меня бабой и говорите, что я струсил. Зачем такая диффамация? После спектакля я ужинал у Романова, честь честью, потом лег спать, спал крепко и на другой день уехал домой, не издав ни одного жалобного звука. Если бы я струсил, то я бегал бы по редакциям, актерам, нервно умолял бы о снисхождении, нервно вносил бы бесполезные поправки и жил бы в Петербурге недели две-три, ходя на свою “Чайку”, волнуясь, обливаясь холодным потом, жалуясь… Когда Вы были у меня ночью после спектакля, то ведь Вы же сами сказали, что для меня лучше всего уехать; и на другой день утром я получил от Вас письмо, в котором Вы прощались со мной. Где же трусость? Я поступил так же разумно и холодно, как человек, который сделал предложение, получил отказ и которому ничего больше не остается, как уехать. Да, самолюбие мое было уязвлено, но ведь это не с неба свалилось; я ожидал неуспеха и уже был подготовлен к нему, о чем и предупреждал Вас с полною искренностью.

Дома у себя я принял касторки, умылся холодной водой — и теперь хоть новую пьесу пиши. Уже не чувствую утомления и раздражения и не боюсь, что ко мне придут Давыдов и Жан

говорить о пьесе. С Вашими поправками я согласен — и благодарю 1000 раз. Только, пожалуйста, не жалейте, что Вы не были на репетиции. Ведь была, в сущности, только одна репетиция, на которой ничего нельзя было понять; сквозь отвратительную игру совсем не видно было пьесы.

А. С. Суворин, 22 октября 1896 г. Мелихово

МХТ

Настали тревожные дни открытия Художественного театра и первых месяцев его существования.

Дела театра шли плохо. За исключением “Федора Иоанновича”, делавшего большие сборы, ничто не привлекало публики. Вся надежда возлагалась на пьесу Гауптмана “Ганнеле”, но московский митрополит Владимир нашел ее нецензурной и снял с репертуара театра.

Наше положение стало критическим, тем более что на “Чайку” мы не возлагали материальных надежд.

Однако пришлось ставить ее. Все понимали, что от исхода спектакля зависела судьба театра.

Но этого мало. Прибавилась еще гораздо большая ответственность. Накануне спектакля, по окончании малоудачной генеральной репетиции в театр явилась сестра Антона Павловича — Мария Павловна Чехова.

Она была очень встревожена дурными известиями из Ялты.

Мысль о вторичном неуспехе “Чайки” при тогдашнем положении больного приводила ее в ужас, и она не могла примириться с тем риском, который мы брали на себя.

Мы тоже испугались и заговорили даже об отмене спектакля, что было равносильно закрытию театра.

Нелегко подписать приговор своему собственному созданию и обречь труппу на голодовку.

А пайщики? что они сказали бы? Наши обязанности по отношению к ним были слишком ясны.

На следующий день, в 8 часов, занавес раздвинулся. Публики было мало.

Как шел первый акт — не знаю. Помню только, что от всех актеров пахло валериановыми каплями. Помню, что мне было страшно сидеть в темноте и спиной к публике во время монолога Заречной и что я незаметно придерживал ногу, которая нервно тряслась.

Казалось, что мы проваливались. Занавес закрылся при гробовом молчании.

Актеры пугливо прижались друг к другу и прислушивались к публике.

Гробовая тишина.

Из кулис тянулись головы мастеров и тоже прислушивались.

Молчание.

Кто-то заплакал. Книппер подавляла истерическое рыдание. Мы молча двинулись за кулисы.

В этот момент публика разразилась стоном и аплодисментами. Бросились давать занавес.

Говорят, что мы стояли на сцене вполоборота к публике, что у нас были страшные лица, что никто не догадался поклониться в сторону залы и что кто-то из нас даже сидел. Очевидно, мы не отдавали себе отчета в происходившем.

В публике успех был огромный, а на сцене была настоящая пасха. Целовались все, не исключая посторонних, которые ворвались за кулисы. Кто-то валялся в истерике. Многие, и я в том числе, от радости и возбуждения танцевали дикий танец.

В конце вечера публика потребовала посылки телеграммы автору. С этого вечера между всеми нами и Антоном Павловичем установились почти родственные отношения.

К. С. Станиславский. А. П. Чехов в Художественном театре

Чайку" видел без декораций; судить о пьесе не могу хладнокровно, потому что сама Чайка играла отвратительно, все время рыдала навзрыд, а Тригорин (беллетрист) ходил по сцене и говорил, как паралитик; у него "нет своей воли", и исполнитель понял это так, что мне было тошно смотреть. Но в общем ничего, захватило. Местами даже не верилось, что это я написал.

Чехов — М. Горькому, 9 мая 1899 г. Мелихово

В твоем письме звучит какая-то едва слышная дребезжащая нотка, как в старом колоколе, — это там, где ты пишешь о театре, о том, как тебя утомили мелочи театральной жизни. Ой, не утомляйся, не охладевай! Художественный театр — это лучшие страницы той книги, какая будет когда-либо написана о современном русском театре. Этот театр — твоя гордость, и это единственный театр, который я люблю, хотя ни разу еще в нем не был. Если бы я жил в Москве, то постарался бы войти к вам в администрацию, хотя бы в качестве сторожа, чтобы помочь хоть немножко и, если можно, помешать тебе охладеть к сему милому учреждению.

Чехов — Вл. И. Немировичу-Данченко, 24 ноября 1899 г. Ялта

Деньги

Не завидуй, братец, мне! Писанье, кроме дерганья, ничего не дает мне. 100 руб., к<ото>рые я получаю в месяц, уходят в утробу, и нет сил переменить свой серенький, неприличный сюртук на что-либо менее ветхое. Плачу во все концы, и мне остается nihil <ничего, нуль>. В семью ухлопывается больше 50. Не с чем в Воскресенск ехать. У Николки денег тоже чертма.

Утешаюсь, по крайней мере, тем, что за спиной кредиторов нет. За апрель я получил от Лейкина 70 руб., и теперь только 13-е, а у меня и на извозца нет.

Живи я в отдельности, я жил бы богачом, ну, а теперь... на реках Вавилонских седохом и плакахом... Пастухов водил меня ужинать к Тестову, пообещал 6 к. за строчку. Я заработал бы у него не сто, а 200 в месяц, но, сам видишь, лучше без штанов с голой ж<...> на визит пойти, чем у него работать. "Будильник" я не терплю, и если соглашусь строчить в нем, то не иначе как с болью. Черт с ними! Если бы все журналы были так честны, как "Осколки", то я на лошадях бы ездил. Мои рассказы не подлы и, говорят, лучше других по форме и содержанию, а андрюшки дмитриевы возводят меня в юмористы первой степени, в одного из лучших, даже самых лучших; на литературных вечерах рассказываются мои рассказы, но... лучше с триппером возиться, чем брать деньги за подлое, за глумление над пьяным купцом, когда и т. д. Черт с ними! Подождем и будем посмотреть, а пока походим в сереньком сюртуке.

Чехов — Ал. П. Чехову, 13 мая 1883 г. Москва

Душа моя просится вширь и ввысь, но поневоле приходится вести жизнь узенькую, ушедшую в сволочные рубли и копейки. Нет ничего пошлее мещанской жизни с ее грошами, харчами, нелепыми разговорами и никому не нужной условной добродетелью. Душа моя изныла от сознания, что я работаю ради денег и что деньги — центр моей деятельности. Ноющее чувство это вместе со справедливостью делают в моих глазах писательство мое занятием презренным, я не уважаю того, что пишу, я вял и скучен самому себе и рад, что у меня есть медицина, которою я, как бы то ни было, занимаюсь все-таки не для денег. Надо бы выкупаться в серной кислоте и совлечь с себя кожу и потом обрасти новой шерстью.

Чехов — А. С. Суворину, 16 июня 1892 г. Мелихово

Первые годы А. П. постоянно нуждался в деньгах, как и все русские писатели, за самыми ничтожными исключениями. Письма А. П-ча, опять-таки как и письма большинства писателей, были в то время полны просьб о высылке денег. Вопрос о гонорарах, кто сколько получает, как платят издатели, занимал много места в наших беседах.

Кстати сказать, в денежных расчетах Антон Павлович был до щепетильности аккуратен. Терпеть не мог должать кому-нибудь, был очень расчетлив, не скуп, но никогда не расточителен; относился к деньгам, как к большой необходимости, а с богатыми людьми вел себя так: богатство — это их личное дело, его нисколько не интересует и не может ни в малейшей степени

изменять его отношение к ним.

Когда бывал в Монте-Карло, играл, но очень мало и сдержанно, ни разу не зарывался; большею частью был в небольшом выигрыше. В московских клубах никогда не играл.

Очень заботился о том, чтобы после его смерти мать и сестра были обеспечены.

Когда он задумал покупать имение, я его спросил, какая ему охота возиться с этим, — он сказал:

— Не надо же будет думать ни о квартирной плате, ни о дровах...

Вл. И. Немирович-Данченко. Чехов

Щепетильность же его в денежных делах была исключительная. Я, конечно, не имею в виду людей близких и тех, кого он признавал своими товарищами. Но там речь могла идти о самых незначительных суммах, которые никого не могли обременить. Тут и у него брали, и он не стеснялся.

Но в отношении к издателям он всегда старался не быть должником и прибегал к просьбе об авансе в самых исключительных случаях, и то можно сказать, что инициатива в таких случаях принадлежала ему разве в первые годы его литературной деятельности, когда ценителями его таланта являлись редакторы “Осколков”, “Будильника” и других аналогичных изданий.

Тогда ему приходилось на четырех страницах искусно подходить к вопросу, чтобы в конце концов попросить авансом пятьдесят рублей для переезда на дачу, со всевозможными гарантиями отработать в такой-то срок и такими-то очерками.

Но позже, когда имя его стало ценностью, авансы предлагались ему со всех сторон, а он, всегда нуждаясь, тем не менее легонько, но все же очень твердо отстранял их.

На аванс он смотрел как на петлю, которую писатель сам набрасывает себе на шею. Случалось, что, взяв аванс и убедившись, что обещанной работы дать к условленному сроку не в состоянии, он делал огромное усилие, чтобы достать денег и поскорее снять с своей шеи петлю и вернуть аванс, чем, конечно, больше всех и несказанно удивлял издателя, который не был приучен к такого рода щепетильности.

Чехов нуждался... Как это странно звучит теперь! Но в те годы в этом не находили ничего странного. Напротив, считалось в порядке вещей, чтобы писатель нуждался, и чуть ли не прямо пропорционально его таланту.

И. Н. Потапенко. Несколько лет с А. П. Чеховым

Власть

Нелегко было вызвать Чехова на сколько-нибудь

продолжительный разговор, который позволил бы составить себе понятие об его отношении к русской действительности. Но по временам это мне все же удавалось. Я вынес из этих бесед убеждение, что Чехов считал и неизбежным, и желательным исчезновение из деревни как дворянина-помещика, так и скупившего его землю по дешевой цене разночинца. Предстоящая рубка “вишневого сада” его не беспокоила. Колупаевы и Разуваевы, изводившие бывшие помещичьи леса и усадьбы, также не вызывали его симпатии. Он желал одного: чтобы земля досталась крестьянам, и не в мирскую, а в личную собственность, чтобы крестьяне жили привольно, в трезвости и материальном довольстве, чтобы в их среде было много школ и правильно поставлена была медицинская помощь.

Чехова мало интересовали вопросы о преимуществе республики или монархии, федеративного устройства и парламентаризма. Но он желал видеть Россию свободной, чуждой всякой национальной вражды, а крестьянство — уравненным в правах с прочими сословиями, призванным к земской деятельности и к представительству в законодательном собрании. Широкая терпимость к различным религиозным толкам, возможность для печати, ничем и никем не стесняемой, оценивать свободно текущие события, свобода сходок, ассоциаций, митингов при полном равенстве всех перед законом и судом — таковы были необходимые условия того лучшего будущего, к которому он сознательно стремился и близкого наступления которого он ждал.

М. М. Ковалевский. Об А. П. Чехове

Вчера в Красносельском театре в присутствии его величества разыграли мы Вашу милую шутку — “Предложение”. <…> Хохот в зале стоял непрерывный. Царь <Александр III> смеялся от души. Вызвали нас два раза, — чего не бывает в официально-чинном Красносельском театре. Не успели мы дойти до наших уборных, как за нами прибежали наши режиссеры и царские адъютанты: “Его величество просит артистов на сцену!” Побежали мы, выстроились. Вышел великий князь Владимир, всех нас похвалил и всем троим подал руку. “Подождите, сейчас выйдет из ложи государь. Очень, очень хорошо играли. И какая оригинальная, остроумная вещь…” Вошел на сцену государь, улыбаясь, принявши наши низкие поклоны, спросил, не очень ли мы устали, кричавши и так горячо играя, спросил у меня, шло ли у нас прежде “Предложение” и чье это; я отвечал, что идет оно у нас первый раз; что пьеса Чехова. Государь спросил, что еще писал для сцены Чехов. “Иванов”, — ответили многие голоса. Государь не сразу понял. Я дополнил: комедию “Иванов”, ваше

величество. Потехин напомнил: “Медведя”. “Ах да! “Иванов”, “Медведь” — этого мне не удалось видеть — жаль!” Затем, еще раз похваливши нас, государь благодарил всех и сделал общий поклон, после которого и мы, низко откланявшись, отошли, как и он от нас. Общие поздравления “с успехом” загудели со всех сторон, и мы пошли переодеваться.

П. М. Свободин — Чехову, 10 августа 1889 г. Петербург

Мне пишут, что в “Предложении”, которое ставилось в Красном Селе, Свободин был бесподобен; он и Варламов из плохой пьесёнки сделали нечто такое, что побудило даже царя сказать комплимент по моему адресу. Жду Станислава и производства в члены Государственного совета.

Чехов – И. Л. Леонтьеву-Щеглову, 29 августа 1889 г. Сумы

Сегодня при раздаче кружек и угощения задавлено, говорят, до 2000 человек. Трупы возили целый день, и народ сопровождал их. <…>

Сегодня как раз обед старшин в Петровском дворце. Гибель тысячей едва ли прибавит им аппетита. Несколько трупов привезли в часть, расположенную на Тверской площади, против дворца генерал-губернатора. В Москве, по крайней мере, все просто делается: передавят, побьют и спокойно развозят при дневном свете по частям. Сколько слез сегодня прольется в Москве и в деревнях. 2000 человек — ведь это битва редкая столько жертв уносит. В прошлое царствование такого не было. Дни коронации стояли серенькие, спокойные. И царствование было серенькое, спокойное. Дни этой коронации ясные, светлые, жаркие. И царствование будет жаркое, наверно. Кто сгорит в нем и что сгорит? Вот вопрос! А сгорит наверное, многое и многое вырастет. Ах, как надо спокойного роста!..

Многие хотели, чтоб государь не ездил на бал французского посольства, то есть, иными словами, чтобы посольство отложило свой бал ввиду этого несчастия. Кривенко советовал это Воронцову-Дашкову и говорил: “Франция приобрела тотчас бы популярность, если бы отложила этот бал. Командир кавалергардов Шипов говорил: “Стоит откладывать бал из-за таких пустяков. Это всегда бывает при коронациях”.

А. С. Суворин. Дневник, 18 мая 1896 г.

На Ваганьковском кладбище трупы лежали в гробах и без гробов. Все это было раздуто, черно, и смрад был такой, что делалось дурно родственникам, которые пришли отыскивать своих детей и родных. Одна женщина сказала мне: “Я узнала брата только по лбу”.

Во время коронации у Набокова, который нес корону, сделался понос, и он напустил в штаны. <…>

Если когда можно было сказать: “Цезарь, мертвые тебя приветствуют”, это именно вчера, когда государь явился на народное гулянье. На площади кричали ему “ура”, пели “Боже, царя храни”, а в нескольких стах саженей лежали сотнями еще не убранные трупы.

А. С. Суворин. Дневник, 19 мая 1896 г.

1-го июня был на Ваганьковском кладбище и видел там могилы погибших на Ходынке.

Чехов. <Дневниковые записи >, 1 июня 1896 г.

На Ваганьковском кладбище был с Чеховым неделю спустя после катастрофы. Еще пахло на могилах. Кресты в ряд, как солдаты во фрунте, большею частью шестиконечные, сосновые. Рылась длинная яма, и гроба ставились друг около друга. Нищий говорил, что будто гробы ставились друг на друга в три ряда.

А. С. Суворин. Дневник, 6 июня 1896 г.

Присутствовал в Художественном театре на представлении пьесы Чехова “Дядя Ваня”. Общее впечатление от пьесы получилось самое тяжелое. Невольно приходила в голову мысль, для чего такая пьеса ставится и какой конечный вывод из нее можно сделать. Публика сидит тихо, слушает внимательно, притаив дыхание, и все ждет — что будет. В третьем акте чувствуется сильное напряжение, раздаются два выстрела, — выстрелы все-таки нелепые, особенно второй, когда дядя Ваня среди всех гонится за профессором, как за зайцем, и на виду у всех стреляет в него. В зрительном зале одновременно делается истерика у трех дам, которых мужья (?) тащат на руках по рядам кресел. <…>

Но в чем смысл и настроение “Дяди Вани”? Пьеса эта изображает современную жизнь — жизнь нервных и расстроенных людей. Сам дядя Ваня в конце XIX столетия всю жизнь свою посвящает работе не детям своим, не родителям, не государству, а крайне антипатичному профессору... <…> Таким образом, среди всех этих, по-видимому, умных и хороших людей — дяди Вани, Астрова и Сони, работающих честно с ним в дружбе, — довольно было появиться глупому профессору и самке-жене молодой, чтобы всех сбить с панталыку. Где же сила и мощь России — в ком из них? Чем все это объяснить — силой глупости профессора или слабостью всех других, непонятно.

Вообще, появление таких пьес — большое зло для театра. Если их можно еще писать, — то не дай бог ставить в наш и без того нервный и беспочвенный век. <…> На представлении “Дяди Вани” присутствовали великий князь <московский генерал-губернатор Сергей Александрович> с великой княгиней <…>

А может быть, я по поводу пьесы “Дядя Ваня” ошибаюсь. Может быть, это действительно современная Россия, — ну тогда дело дрянь, такое состояние должно привести к катастрофе.

В. А. Теляковский. Дневник, 22 ноября 1899 г.

Присутствовал в Михайловском театре на представлении “Трех сестер” Чехова. В театре были государь император <Николай II>, государыня императрица, великие князья Владимир и Сергей Александровичи, великие княгини Елизавета Феодоровна, Ксения Александровна и Мария Георгиевна. Спектакль прошел очень хорошо — театр был полон. Прекрасно пьеса разыграна и особенно поставлена, режиссерская часть очень хороша. После спектакля все в царской ложе остались довольны представлением, а государь император, уезжая, сказал мне, чтобы я передал всем артистам его благодарность и похвалу за прекрасное исполнение пьесы. Сама пьеса произвела, по-видимому, сильное впечатление, и государь сказал, что такую пьесу изредка интересно видеть, но исключительно такой репертуар тяжело выдержать.

В. А. Теляковский. Дневник, 13 марта 1902 г.

По какому-то поводу зашел разговор о Николае II. Антон Павлович сказал: “Про него неверно говорят, что он больной, глупый, злой. Он — просто обыкновенный гвардей-ский офицер. Я его видел в Крыму. У него здоровый вид, он только немного бледен.

С. Л. Толстой. Очерки былого

А. П. Чехов пишет какую-то большую вещь и говорит мне: “Чувствую, что теперь нужно писать не так, не о том, а как-то иначе, о чем-то другом, для кого-то другого, строгого и честного”. Полагает, что в России ежегодно, потом ежемесячно, потом еженедельно будут драться на улицах и лет через десять додерутся до конституции. Путь не быстрый, но единственно верный и прямой. Вообще А. П. очень много говорит о конституции, и ты, зная его, разумеется, поймешь, о чем это свидетельствует.

М. Горький — В. А. Поссе, после 14 (27) ноября 1901 г. Олеиз

Последнее письмо я получил от него из-за границы, в середине июня 1904 года, живя в деревне. Он писал, что чувствует он себя недурно, заказал себе белый костюм, огорчается только за Японию, “чудесную страну”, которую, конечно, разобьет и раздавит Россия.

И. А. Бунин. Чехов

И последние его дни были омрачены глубокой скорбью за Россию, были взволнованы ужасом кровопролитной, чудовищной японской войны...

А. И. Куприн. Памяти Чехова

Вера

Скажу только, что в вопросах, которые Вас занимают, важны не забытые слова, не идеализм, а сознание собственной чистоты, т. е. совершенная свобода души Вашей от всяких забытых и незабытых слов, идеализмов и проч. и проч. непонятных слов. Нужно веровать в Бога, а если веры нет, то не занимать ее места шумихой, а искать, искать, искать одиноко, один на один со своею совестью...

Чехов — В. С. Миролюбову, 17 декабря 1901 г. Ялта

Вы пишете, что мы говорили о серьезном религиозном движении в России. Мы говорили про движение не в России, а в интеллигенции. Про Россию я ничего не скажу, интеллигенция же пока только играет в религию, и главным образом от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит от нее все дальше и дальше, что бы там ни говорили и какие бы философско-религиозные общества ни собирались. Хорошо это или дурно, решить не берусь, скажу только, что религиозное движение, о котором Вы пишете, — само по себе, а вся современная культура — сама по себе, и ставить вторую в причинную зависимость от первой нельзя. Теперешняя культура — это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, быть может, еще десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину настоящего бога — т. е. не угадывало бы, не искало бы в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре. Теперешняя культура — это начало работы, а религиозное движение, о котором мы говорили, есть пережиток, уже почти конец того, что отжило или отживает. Впрочем, история длинная, всего не напишешь в письме.

Чехов — С. П. Дягилеву, 30 декабря 1902 г. Ялта

…Как бы это я ужился под одной крышей с Д. С. Мережковским, который верует определенно, верует учительски, в то время как я давно растерял свою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего.

Чехов — С. П. Дягилеву, 12 июля 1903 г. Ялта

Но он мог часами просиживать в кресле, без газет и без книг, заложив нога на ногу, закинув назад голову, часто с закрытыми глазами. И кто знает, каким думам он предавался в уединенной тишине своего кабинета, никем и ничем не отвлекаемый. Я уверен, что не всегда и не только о литературе и о житейском. Был ли Чехов верующим?

Он сам, если судить по его письмам, считал себя атеистом и

говорил о том, что веру потерял и вообще не верит в интеллигентскую веру. Еще недавно человек, хорошо его знавший, рассказывал мне, как раз, во время рыбной ловли, услышав церковный благовест, Чехов обратился к нему со словами: “Вот любовь к этому звону — все, что осталось еще у меня от моей веры”.

Я только в самом начале слышал от него замечания в этом роде. Но я помню и такой случай. Как-то пришлось к разговору, я рассказал ему о слышанном много в публичной лекции одного профессора про четвертое измерение и спросил его: верит ли он в четвертое измерение. Он ничего не ответил. Через несколько дней совершенно неожиданно он вдруг говорит: “А знаете, четвертое измерение-то, может, окажется и существует, и какая-нибудь загробная жизнь...” Он носил крестик на шее. Это, конечно, не всегда должно свидетельствовать о вере, но еще меньше ведь об отсутствии ее. Еще в 1897 году он в своем таком скудном, всего с несколькими записями, и то не за каждый год, дневнике отметил: “Между „есть Бог“ и „нет Бога“ лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей, середина же между ними не интересует его, и потому он обыкновенно не знает ничего или очень мало”. Мне почему-то кажется, что Чехов, особенно последние годы, не переставал с трудом продвигаться по этому полю, и никто не знает, на каком пункте застала его смерть.

И. Н. Альтшуллер. О Чехове

Болезнь

Тем обстоятельством, что Чехов был врач, можно в известной степени объяснить и некоторые особенности истории его болезни. Как это ни странно, но как раз врачи чаще других впадают в две возможные крайности: или они переоценивают свои болезненные ощущения и симптомы и относят к себе все самое неблагоприятное, что знают про свою болезнь, или, наоборот, недооценивают того, что есть, опять-таки стараясь обосновать свое отношение медицинскими соображениями.

Я уже упоминал о том, что в самое первое время нашего знакомства Чехов про болезнь свою не говорил. В конце ноября 1898 года рано утром мне принесли от него записку, в которой он просил зайти, захватив с собой “стетоскопчик и ларингоскопчик”, так как у него кровохарканье, — и я действительно застал его с порядочным кровотечением. Ларингоскоп тут был ни при чем, потому что не могло быть никакого сомнения, что это настоящее легочное кровотечение. Когда через несколько дней я мог его детально исследовать, то я был поражен найденным. В этот

первый наш медицинский разговор Чехов начал летосчисление с года поездки на Сахалин (1890), когда у него в дороге появилось будто бы первое кровохарканье, но впоследствии выяснилось, что оно было уже в 1884 году и потом довольно нередко повторялось. И с студенческих лет он много кашлял, весною и осенью плохо себя чувствовал и нередко лихорадил, но объяснял это инфлуэнцой, никогда не лечился, не давал себя выслушивать, чтобы “чего-нибудь там не нашли”. Объяснял кровохарканье горлом, а кашель — простой простудой, хотя, по его собственным словам, временами превращался в стрекозиные мощи. И еще в 1888 году он наставительно, как врач, пишет Суворину, что “чахотка или иное серьезное легочное страдание узнается только по совокупности признаков, а у меня-то именно этой совокупности-то и нет”. И даже, несмотря на кровохаркания, единственный симптом, производивший на него впечатление, так как “в крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве”, и даже после смерти брата Николая от скоротечной чахотки в 1889 году он еще заявляет, что “ни за что выслушивать себя не позволит”, и только хлынувшая весной 1897 года в необычно большом количестве кровь и вмешательство друзей заставили его лечь в клинику профессора Остроумова. С того времени, очевидно, процесс неуклонно прогрессировал. И я при первом исследовании уже нашел распространенное поражение в обоих легких, особенно в правом, с несколькими кавернами, следы плевритов, значительно ослабленную, перерожденную сердечную мышцу и отвратительный кишечник, мешавший поддерживать должное питание. Мои тогдашние попытки убедить Чехова в необходимости серьезно лечиться не привели ни к чему. Он упорно заявлял, что лечиться, заботиться о здоровье — внушает ему отвращение. И ничто не должно было напоминать о болезни, и никто не должен был ее замечать. Поэтому и выработал он такую манеру говорить, не повышая голоса, медленно, монотонно, останавливаясь при чувстве раздражения гортани, чтобы удержать кашель, а если уже приходилось кашлять, то мокрота отплевывалась в маленький, заранее приготовленный бумажный фунтик, тут же где-нибудь лежавший за книгами на столе и отправляемый потом в камин. Только с дипломатическими подходами, как будто невзначай или пользуясь случайными поводами, удавалось его послушать и заставить сделать то или иное. Только с 1901 года он перешел на положение настоящего пациента и сам уж часто предлагал: “Давайте послушаемтесь”. Но и тут заставить его лечь, вообще заняться лечением, главным образом и прежде всего, было нельзя. И не только с посторонними он не любил говорить о

своей болезни, но и от своих домашних скрывал свои немощи, никогда не жаловался; на вопрос: “как себя чувствуешь?” — отвечал: “сейчас хорошо, почти здоров, только вот кашель”, или “голова болит”, или что-нибудь в этом роде. К несчастью, процесс уже находился в той стадии, когда на выздоровление не могло быть никакой надежды, а можно было только стремиться к замедлению темпа болезни или к временному улучшению состояния больного. Увы, и для этого у Чехова обстоятельства сложились крайне неблаго-приятно прежде всего в силу окружавшей его обстановки; и как это ни странно, но он был лишен ухода и некоторых необходимых для лечения условий. Чехов был очень привязан к семье, но особенно нежно любил свою мать, окружал ее трогательной заботливостью, и последние слова в его завещании сестре были: “Береги маму”. И Евгения Яковлевна платила своему Антоше той же нежностью. Но что могла сделать эта милая, всеми любимая старушка? Разве могла она что-нибудь провести или на чем-нибудь настоять? И выходило так, что, несмотря на все предписания, пищу давали ему совершенно неподходящую, и компресс ставила неумелая горничная, и о тысяче мелочей, из которых состоит режим такого больного, некому было позаботиться. Сестра его, Мария Павловна, когда выяснилось положение, была готова бросить службу и Москву и совсем переехать в Ялту, но после его женитьбы по психологически понятным причинам это отпало. Антон Павлович повенчался с Ольгой Леонардовной Книппер в мае 1901 года, как известно, никого не предупредив. С этого времени и условия его жизни резко изменились.

Как врач, лечивший Чехова, и исключительно с врачебной точки зрения я должен сказать, что изменения эти, к сожалению, не могли способствовать ни лечению, ни улучшению его здоровья. Одному известному французскому специалисту по туберкулезу принадлежит афоризм: “Чахоточные должны забыть о лаврах”, и судьба Чехова как будто этот афоризм подтверждает. Его несчастьем стало счастье, выпавшее на его долю к концу жизни и оказавшееся непосильным для него: Художественный театр и женитьба.

И. Н. Альтшуллер. О Чехове

Меня разбудило ощущение близкой опасности. Я открыл глаза. Комната была полна белым ослепительным сиянием, которое мгновенно исчезло, чтобы через секунду вновь появиться. Вокруг дома свирепствовала буря. Озверевшие серые огромные тучи лезли друг на друга, изрыгая огонь и грохот. Березы в саду, согнувшись, выли от боли, поражаемые косым дождем, который от молний казался стеклянным. От вихря и грома дом так сильно

дрожал, что за вздувшимися обоями осыпалась штукатурка.

И вдруг сквозь грохот разрушавшегося неба я услышал протяжный, мычащий стон...

Ухо, приложенное к стене, за которой был Чехов, подтвердило мою догадку... Стон повторился — мучительный, почти нечеловеческий, оборвавшийся не то рвотой, не то рыданьем.

Мне показалось, что Чехов умирает и что если он умрет, то это по моей вине. Себя не помня, как был, в одной рубашке и босиком, я бросился через столовую к комнате Чехова. У дверей я еще раз прислушался, стуча зубами.

Как это часто бывает в минуты ее наивысшего напряжения, гроза вдруг на мгновение остановилась. В доме стало тихо и страшно... И в этой тишине явственно были слышны сдавленные стоны, кашель и какое-то бульканье.

Я распахнул дверь и шепотом окликнул Чехова:

— Антон Павлович!

На тумбочке у кровати догорала оплывшая свеча. Чехов лежал на боку, среди сбитых простынь, судорожно скорчившись и вытянув за край кровати длинную с кадыком шею. Все его тело содрогалось от кашля... И от каждого толчка из его широко открытого рта в синюю эмалированную плевательницу, как жидкость из опрокинутой вертикально бутылки, выхаркивалась кровь...

За шумом начавшейся опять грозы Чехов меня не заметил. Я еще раз назвал его по имени.

Чехов отвалился навзничь, на подушки и, обтирая платком окровавленные усы и бороду, медленно в темноте нащупывал меня взглядом.

И тут я в желтом стеариновом свете огарка впервые увидел его глаза без пенсне. Они были большие и беспомощные, как у ребенка, с желтоватыми от желчи белками, подернутые влагой слез...

Он тихо, с трудом проговорил:

— Я мешаю... вам спать... простите... голубчик...

Ослепительный взмах за окном, и сейчас же за ним страшный удар по железной крыше заглушил его слова.

Я видел только, как под слипшимися от крови усами беззвучно шевелились его губы...

А. Серебров (Тихонов). О Чехове

Несколько слов и об отношении А. П. к своей болезни, которое было удивительно характерным. Как известно, он более десяти лет страдал туберкулезом легких, позднее поразившим и его кишечник; известно также, что туберкулезные больные крайне

оптимистически относятся к своей болезни, то игнорируя симптомы ее, то стараясь объяснить явление чем-либо иным, но не туберкулезом, и нередко даже накануне смерти считают себя совершенно здоровыми. Чехов, образованный врач, крайне чуткий человек, обладавший способностью глубокого анализа и самоанализа, хотя не отрицал существования болезни, но относился к ней крайне легкомысленно, чтобы не сказать больше, и различные проявления ее старался объяснить по-своему. Так, например, в письме от 30/IX 1900 года, когда речь шла, по-видимому, об обострении легочного процесса, он мне пишет: “Здоровье мое сносно, было что-то вроде инфлуэнцы, а теперь ничего, остался только кашель, небольшой”.

Или еще 17/VI 1904 года, то есть за две недели до смерти, по приезде в Баденвейлер, он прислал мне открытку, в которой писал: “Я уже выздоровел, осталась только одышка и сильная, вероятно неизлечимая, лень. Очень похудел и отощал. Боли в руках и ногах прошли еще до Варшавы”.

Еще более разительно то место его письма, — написанного мне за три дня до смерти (28/VI 1904), — где он жалуется на свои страдания, заставляющие его мечтать о морском путешествии обратно в Россию Средиземным и Черным морем... “У меня все дни была повышена температура, а сегодня все благополучно, чувствую себя здоровым, особенно когда не хожу, т. е. не чувствую одышки. Одышка тяжелая, просто хоть караул кричи, даже минутами падаю духом. Потерял я всего 15 фунтов весу. Здесь жара невыносимая, просто хоть караул кричи, а летнего платья у меня нет, точно в Швецию приехал. Говорят, везде очень жарко, по крайней мере на юге...”

Тут и одышка, и ощущения, сопровождающие повышенную температуру, и слабость (почерк, стиль и пр.), а между тем оценка состояния неверная, раз он, расстававшийся с жизнью, в чем для окружающих не могло уже быть никакого сомнения, готовился к долгой поездке морем, чтобы вернуться в Ялту.

Г. И. Россолимо. Воспоминания о Чехове

Ялта

Умер отец после мучительной болезни и операции, которая продолжалась долго; и этого не случилось бы, если бы я был дома. Я не допустил бы до омертвения.

Как бы ни было, настроение у меня в последние дни совсем не радостное. А погода великолепная; стоят теплые, совершенно летние дни, и только по утрам бывает прохладно. <...>

Я, вероятно, останусь зимовать в Ялте. За границу не хочется. Да и нельзя уезжать далеко, так как необходимо начертать план дальнейшего существования. На сих днях приедет в Ялту сестра,

и мы вместе будем решать, как нам быть. Мать, вероятно, уже не захочет жить в деревне, ей одной там будет страшно. Должно быть, продадим Мелихово и устроимся в Крыму, где будем жить вместе, пока бациллы не покинут меня; так или иначе, но доктора того мнения, что в Крыму придется мне провести еще не одну зиму. Это называется выбиться из колеи.

Чехов — А. С. Суворину, 17 октября 1898 г. Ялта

На горах снег. Потягивает холодом. Жить теперь в Крыму — это значит ломать большого дурака. Ты пишешь про театр, кружок и всякие соблазны, точно дразнишь, точно не знаешь, какая скука, какой это гнет ложиться в 9 час <ов> вечера, ложиться злым, с сознанием, что идти некуда, поговорить не с кем и работать не для чего, так как все равно не видишь и не слышишь своей работы. Пианино и я — это два предмета в доме, проводящие свое существование беззвучно и недоумевающие, зачем нас здесь поставили, когда на нас тут некому играть.

Чехов — М. П. Чеховой, 11 ноября 1899 г. Ялта

Видела на набережной Чехова. Сидит сиротой на скамеечке.

С. И. Смирнова-Сазонова. Дневник, 30 июля 1899 г. Ялта

Ах, какая масса сюжетов в моей голове, как хочется писать, но чувствую, чего-то не хватает — в обстановке ли, в здоровье ли. Вышла премия “Нивы” — мои рассказы с портретом, и мне кажется, что это не мои рассказы. Не следовало бы мне в Ялте жить, вот что! Я тут как в Малой Азии.

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой, 23 января 1903 г. Ялта

В январе 1903 года Чехов сидел на диване, перебирая и сортируя письма за минувший год.

— Идет дождь? — спросил он, здороваясь со мною.

— Нет, теперь перестал.

Антон Павлович подошел к окну, постоял и, оглянувшись, произнес:

— Вот в такую бы погоду застрелиться...

Б. А. Лазаревский. А. П. Чехов

Жена

Извольте, я женюсь, если Вы хотите этого. Но мои условия: все должно быть, как было до этого, то есть она должна жить в Москве, а я в деревне, и я буду к ней ездить. Счастье же, которое продолжается изо дня в день, от утра до утра, — я не выдержу. Когда каждый день мне говорят всё об одном и том же, одинаковым тоном, то я становлюсь лютым. Я, например, лютею в обществе Сергеенко, потому что он очень похож на женщину (“умную и отзывчивую”) и потому что в его присутствии мне приходит в голову, что моя жена может быть похожа на него. Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне такую жену,

которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день. NB: оттого, что я женюсь, писать я не стану лучше.

Чехов — А. С. Суворину, 23 марта 1895 г. Мелихово

Помню, сидел я у письменного стола, а Чехов в глубине комнаты в полумраке, на диване. Говорили об общественных настроениях, о литературе, о “Жизни”. Потом беседа приобрела более интимный характер. Помолчали каждый со своими мыслями.

— А что, Владимир Александрович, могли бы вы жениться на актрисе? — прервал молчание тихий голос Антона Павловича.

Вопрос застал меня врасплох, и я несколько неуверенно ответил:

— Право, не знаю, думаю, что мог бы.

— А я вот не могу! — И в голосе Чехова послышалась резкая нота, которой раньше я не замечал.

Видно, не без борьбы пришел Чехов к решению жениться на Книппер.

В. А. Поссе <Воспоминания о Чехове>

Балериночка моя, мне без тебя очень скучно, и если ты начнешь ходить к Омону и забудешь меня, то я уйду в монахи. Не ходи, деточка, к Омону. <...>

Часто вижу тебя во сне, а когда закрываю глаза, то вижу и наяву. Ты для меня необыкновенная женщина.

Будь здорова, дуся. Да хранит тебя создатель. Будь умницей, работай, а весной приезжай сюда. Мне нужно кое-что сказать тебе на ухо.

Крепко целую, обнимаю и опять целую.

Твой Antoine.

Чехов — О. Л. Книппер, 21 декабря 1900 г. (3 января 1901 г.) Ницца

...Внутри росло и крепло чувство, которое требовало каких-то определенных решений, и я решила соединить мою жизнь с жизнью Антона Павловича, несмотря на его слабое здоровье и на мою любовь к сцене. Верилось, что жизнь может и должна быть прекрасной, и она стала такой, несмотря на наши горестные разлуки, — они ведь кончались радостными встречами. Жизнь с таким человеком мне казалась нестрашной и нетрудной: он так умел отбрасывать всю тину, все мелочи жизненные и все ненужное, что затемняет и засоряет самую сущность и прелесть жизни.

О. Л. Книппер-Чехова. О А. П. Чехове

В другой раз в сумерках я читал ему “Гусева”, дико хвалил его, считая, что “Гусев” первоклассно хорош, он был взволнован, молчал. Я еще раз про себя прочел последний абзац этого

рассказа:

— “А наверху в это время, где заходит солнце, скучиваются облака, одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы...” — как он любит облака сравнивать с предметами, — мелькнуло у меня в уме. — “Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой середины неба, немного погодя рядом с этим ложится золотой, потом розовый... Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке назвать трудно”.

“Увижу ли я когда-нибудь его?” — подумал я. Индийский океан привлекал меня с детства... И неожиданно глухой, тихий голос:

— Знаете, я женюсь...

И сразу стал шутить, что лучше жениться на немке, чем на русской, она аккуратнее, и ребенок не будет по дому ползать и бить в медный таз ложкой...

Я, конечно, уже знал о его романе с Ольгой Леонардовной Книппер, но не был уверен, что он окончится браком. Я был уже в приятельских отношениях с Ольгой Леонардовной и понимал, что она совершенно из другой среды, чем Чеховы. Понимал, что Марье Павловне нелегко будет, когда хозяйкой станет она. Правда, Ольга Леонардовна - актриса, едва ли оставит сцену, но все же многое должно измениться. Возникнут тяжелые отношения между сестрой и женой, и все это будет отзываться на здоровье Антона Павловича, который, конечно, как в таких случаях бывает, будет остро страдать то за ту, то за другую, а то и за обеих вместе. И я подумал: “Да это самоубийство! хуже Сахалина”, — но промолчал, конечно.

И. А. Бунин. Чехов

Милая мама, благословите, женюсь. Все останется по-старому. Уезжаю на кумыс. Адрес: Аксеново, Самаро-Златоустовской. Здоровье лучше.

Антон

Чехов — Е. Я. Чеховой, 25 мая 1901 г. Москва

Однажды Антон Павлович попросил А. Л. Вишневского устроить званый обед и просил пригласить туда своих родственников и почему-то также и родственников О. Л. Книппер. В назначенный час все собрались, и не было только Антона Павловича и Ольги Леонардовны. Ждали, волновались, смущались и наконец получили известие, что Антон Павлович уехал с Ольгой Леонардовной в церковь, венчаться, а из церкви поедет прямо на вокзал и в Самару, на кумыс.

А весь этот обед был устроен им для того, чтобы собрать в одно место всех тех лиц, которые могли бы помешать повенчаться интимно, без обычного свадебного шума. Свадебная помпа так мало отвечала вкусу Антона Павловича. С дороги А. Л. Вишневскому была прислана телеграмма.

К. С. Станиславский. А. П. Чехов в Художественном театре

Когда я за границей из “Русских ведомостей” узнал об их браке, я вспомнил почему-то, как в приезд Ольги Леонардовны в чеховский дом весной 1900 года я однажды увидел такую группу: она с Марией Павловной наверху лестницы, а внизу Антон Павлович. Она в белом платье, радостная, сияющая здоровьем и счастьем, в начале блестящей карьеры, первая актриса Художественного театра, в центре внимания не одной Москвы, с громадными возможностями и надеждами в будущем, он — осунувшийся, худой, пожелтевший, быстро стареющий, безнадежно больной. И когда они, повенчавшись, связали свою жизнь, то фатальные последствия не могли заставить себя ждать. Она должна была оставаться в Москве, — он без риска и вредных последствий для здоровья не мог покидать своей “теплой Сибири”. И зная Чехова, нетрудно было вперед сказать, чем это кончится.

И. Н. Альтшуллер. О Чехове

Спасибо тебе, моя радость, мать очень обрадовалась твоему письму; прочла и потом дала мне, чтобы я прочитал ей вслух, и долго хвалила тебя. То, что ты пишешь о своей ревности, быть может, и основательно, но ты такая умница, сердце у тебя такое хорошее, что все это, что ты пишешь о своей якобы ревности, как-то не вяжется с твоею личностью. Ты пишешь, что Маша никогда не привыкнет к тебе и проч. и проч. Какой все это вздор! Ты все преувеличиваешь, думаешь глупости, и я боюсь, что, чего доброго, ты будешь ссориться с Машей. Я тебе вот что скажу: потерпи и помолчи только один год, только один год, и потом для тебя все станет ясно. Что бы тебе ни говорили, что бы тебе ни казалось, ты молчи и молчи. Для тех, кто женился и вышел замуж, в этом непротивлении в первое время скрываются все удобства жизни. Послушайся, дуся, будь умницей!

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой, 3 сентября 1901 г. Ялта

Письма твоего Маша не давала мне, я нашел его в комнате матери, на столе, машинально взял и прочел — и понял тогда, почему Маша была так не в духе. Письмо ужасно грубое, а главное — несправедливое; я, конечно, понял твое настроение, когда ты писала, и понимаю. А твое последнее письмо какое-то странное, и я не знаю, что с тобою и что у тебя в голове, дуся моя. <...> Нельзя, нельзя так, дуся, несправедливости надо бояться.

Надо быть чистой в смысле справедливости, совершенно чистой, тем паче что ты добрая, очень добрая и понимающая. Прости, дусик, за эти нотации, больше не буду, я боюсь этого.

<...>

От твоих писем веет холодком, а я все-таки пристаю к тебе с нежностями и думаю о тебе бесконечно. Целую тебя миллиард раз, обнимаю. Пиши мне, дуся, чаще, чем один раз в пять дней. Все-таки я ведь твой муж. Не расходись со мной так рано, не поживши как следует, не родивши мне мальчишку или девчонку. А когда родишь, тогда можешь поступать, как тебе угодно. Целую тебя опять-таки.

Твой Antoine.

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой, 27 августа 1902 г. Ялта

Милая моя, родная, опять я получил от тебя странное письмо. Опять ты взваливаешь на мою башку разные разности. Кто тебе сказал, что я не хочу вернуться в Москву, что я уехал совсем и уже не вернусь этой осенью? Ведь я же писал тебе, писал ясно, русским языком, что я приеду непременно в сентябре и буду жить вместе с тобой до декабря. Разве не писал? Ты обвиняешь меня в неоткровенности, а между тем ты забываешь все, что я говорю тебе или пишу. И просто не придумаю, что мне делать с моей супругой, как писать ей. Ты пишешь, что тебя дрожь пробирает при чтении моих писем, что нам пора разлучаться, что ты чего-то не понимаешь во всем... Мне кажется, дуся моя, что во всей этой каше виноват не я и не ты, а кто-то другой, с кем ты поговорила. В тебя вложено недоверие к моим словам, к моим движениям, все тебе кажется подозрительным — и уж тут я ничего не могу поделать, не могу и не могу. И разуверять тебя и переубеждать не стану, ибо бесполезно. Ты пишешь, что я способен жить около тебя и все молчать, что нужна ты мне только как приятная женщина и что ты сама как человек живешь чуждой мне и одинокой... Дуся моя милая, хорошая, ведь ты моя жена, пойми это наконец! Ты самый близкий и дорогой мне человек, я тебя любил безгранично и люблю, а ты расписываешься “приятной” женщиной, чуждой мне и одинокой... Ну, да бог с тобой, как хочешь. <...>

Дуся моя, будь женой, будь другом, пиши хорошие письма, не разводи мерлехлюндии, не терзай меня. Будь доброй, славной женой, какая ты и есть на самом деле. Я тебя люблю сильнее прежнего и как муж перед тобой ни в чем не виноват, пойми же это наконец, моя радость, каракуля моя.

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой, 1 сентября 1902 г. Ялта

В начале декабря < 1903> Антон Павлович приехал в Москву. Я тоже был там, — мы с Найденовым готовились к

поездке за границу. Ежедневно по вечерам я заходил к Чехову, оставался иногда у него до трех-четырех часов утра, то есть до возвращения Ольги Леонардовны домой.

Чаще всего она уезжала в театр, но иногда отправлялась на какой-нибудь благотворительный концерт. За ней заезжал Немирович во фраке, пахнущий сигарами и дорогим одеколоном, а она в вечернем туалете, надушенная, красивая, молодая, подходила к мужу со словами:

— Не скучай без меня, дусик, впрочем, с Букишончиком тебе всегда хорошо... До свиданья, милый, — обращалась она ко мне. Я целовал ее руку, и они уходили. Чехов меня не отпускал до ее возвращения. И эти бдения мне особенно дороги. <...> Часа в четыре, а иногда и совсем под утро возвращалась Ольга Леонардовна, пахнущая вином и духами...

— Что же ты не спишь, дуся?.. Тебе вредно. А вы тут еще, Букишончик, ну, конечно, он с вами не скучал!

Я быстро вставал и прощался.

И. А. Бунин. Чехов

Его вместе с Ольгой Леонардовной я застал на террасе. Мне очень не понравилось, что он не один, но делать было нечего. Влюбленный в жену, он был счастлив. <...>

Потом я ушел к Марии Павловне. Она была грустная, грустная.

— Что вы такая?

— Да отчасти из-за вас. Вы знаете, что Ольга Леонардовна была против того, чтобы вас приняли. Теперь уже и я вижу Антошу не тогда, когда хочу, меня к нему не пускают.

— Ну что вы?

— Да, да.

Б. И. Лазаревский. Дневник, август 1903 г. Ялта

Последний чеховской любовный сюжет не напоминал ни одно из его произведений. Финалы "Чайки" ("Вы писатель, я — актриса... Попали и мы с вами в круговорот...") или "Дамы с собачкой" ("Как? Как? — спрашивал он, хватая себя за голову. - Как?) неразрешимы, но — по-иному. У чеховской жены много судей. Даже знаменитый фольклорист, строгий филолог В. Я. Пропп в "Дневнике старости" беспощаден: "Есть две женщины, которых ненавижу острой, звериной ненавистью. Одна — Наталья Николаевна Гончарова, вторая — Ольга Леонардовна Книппер".

Наши чувства любви, обиды и ревности понятны, но стоит учитывать и точку зрения объекта сочувствия. Пастернак иронизировал: Пушкину нужно было бросить Наталью Николаевну и жениться на пушкинисте Щеголеве.

Не помню, по какому поводу, разговор перешел на тему о

браке.

— Счастливы или несчастливы данные муж и жена — этого сказать никто не может. Это тайна, которую знают трое: Бог, он и она... — произнес, прищурившись, Чехов.

Б. А. Лазаревский. А. П. Чехов

Завещание

Марии Павловне Чеховой.

Милая Маша, завещаю тебе в твое пожизненное владение дачу мою в Ялте, деньги и доход с драматических произведений, а жене моей Ольге Леонардовне — дачу в Гурзуфе и пять тысяч рублей. Недвижимое имущество, если пожелаешь, можешь продать. Выдай брату Александру три тысячи, Ивану — пять тысяч и Михаилу — три тысячи, Алексею Долженко — одну тысячу и Елене Чеховой (Леле), если она не выйдет замуж, — одну тысячу рублей. После твоей смерти и смерти матери все, что окажется, кроме дохода с пьес, поступает в распоряжение таганрогского городского управления на нужды народного образования, доход же с пьес — брату Ивану, а после его, Ивана, смерти — таганрогскому городскому управлению на те же нужды по народному образованию.

Я обещал крестьянам села Мелихова 100 рублей — на уплату за шоссе; обещал также Гавриилу Алексеевичу Харченко (Харьков, Москалевка, с. дом) платить за его старшую дочь в гимназию до тех пор, пока ее не освободят от платы за учение. Помогай бедным. Береги мать. Живите мирно.

Антон Чехов.

3 августа 1901 г.

Чехов — М. П. Чеховой, 3 августа 1901 г. Ялта

На другой же день мы поехали обратно в Ялту. С нами вместе ехала туда же и вдова.

А затем — долгая тоска, пока не привыкли, и обидные для чувства формальности по вводу во владение оставшимся после покойного наследством. Оно доставалось по закону нам, трем братьям покойного писателя, но мы, зная его последнюю волю, отказались от наследства и все, в полном составе, передали нашей сестре Марии Павловне.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

Городскую стипендию, благодаря которой он приехал в Москву, он отрабатывал не только всю жизнь, но даже после смерти. Кажется, о народном образовании он заботился больше, чем о близких родственниках.

Юбилей

В первый раз с тех пор, как мы играли Чехова, премьера его пьесы совпадала с пребыванием его в Москве. Это дало нам мысль

устроить чествование любимого поэта. Чехов очень упирался, угрожал, что останется дома, не приедет в театр. Но соблазн для нас был слишком велик, и мы настояли. Притом же первое представление совпало с днем именин Антона Павловича (17/30 января).

Назначенная дата была уже близка, надо было подумать и о самом чествовании, и о подношениях Антону Павловичу. Трудный вопрос! Я объездил все антикварные лавки, надеясь там набресть на что-нибудь, но, кроме великолепной шитой музейной материи, мне ничего не попалось. За неимением лучшего пришлось украсить ею венок и подать его в таком виде.

“По крайней мере, — думал я, — будет поднесена художественная вещь”.

Но мне досталось от Антона Павловича за ценность подарка.

— Послушайте, ведь это же чудесная вещь, она же должна быть в музее, — попрекал он меня после юбилея.

— Так научите, Антон Павлович, что же надо было поднести? — оправдывался я.

— Мышеловку, — серьезно ответил он, подумав. — Послушайте, мышей же надо истреблять. — Тут он сам расхохотался. — Вот художник Коровин чудесный подарок мне прислал! Чудесный!

— Какой? — интересовался я.

— Удочки.

И все другие подарки, поднесенные Чехову, не удовлетворили его, а некоторые так даже рассердили своей банальностью.

— Нельзя же, послушайте, подносить писателю серебряное перо и старинную чернильницу.

— А что же нужно подносить.

— Клистирную трубку. Я же доктор, послушайте. Или носки. Моя же жена за мной не смотрит. Она актриса. Я же в рваных носках хожу. Послушай, дуся, говорю я ей, у меня палец на правой ноге вылезает. Носи на левой ноге, говорит. Я же не могу так! — шутил Антон Павлович и снова закатывался веселым смехом.

Но на самом юбилее он не был весел, точно предчувствуя свою близкую кончину. Когда после третьего акта он, мертвенно бледный и худой, стоя на авансцене, не мог унять кашля, пока его приветствовали с адресами и подарками, у нас болезненно сжалось сердце. Из зрительного зала ему крикнули, чтобы он сел. Но Чехов нахмурился и простоял все длинное и тягучее торжество юбилея, над которым он добродушно смеялся в своих произведениях. Но и тут он не удержался от улыбки. Один из литераторов начал свою речь почти теми же словами, какими

Гаев приветствует старый шкаф в первом акте:

— Дорогой и многоуважаемый... (вместо слова “шкаф” литератор вставил имя Антона Павловича) — приветствуя вас... — и т. д.

Антон Павлович покосился на меня — исполнителя Гаева, — и коварная улыбка пробежала по его губам.

Юбилей вышел торжественным, но он оставил тяжелое впечатление. От него отдавало похоронами. Было тоскливо на душе.

К. С. Станиславский. А. П. Чехов в Художественном театре

Тайна

Я видел, как А. П. Чехов, сидя в саду у себя, ловил шляпой солнечный зайчик и пытался — совершенно безуспешно — надеть его на голову вместе со шляпой. И я видел, что неудача раздражает ловца солнечных лучей, — лицо его становилось все более сердитым. Он кончил тем, что, уныло хлопнув шляпой по колену, резким жестом нахлобучил ее себе на голову, раздраженно отпихнул ногою собаку Тузика, прищурив глаза, искоса взглянул в небо и пошел к дому. А увидев меня на крыльце, сказал ухмыляясь: “Здравствуйте! Вы читали Бальмонта. “Солнце пахнет травами”? Глупо. В России солнце пахнет казанским мылом, а здесь — татарским потом”…”

Горький. Заметки из дневника. Люди наедине сами с собой

Ich sterbe...

Антон Павлович тихо, покойно отошел в другой мир. В начале ночи он проснулся и первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. Ощущение чего-то огромного, надвигающегося придавало всему, что я делала, необычайный покой и точность, как будто кто-то уверенно вел меня. Помню только жуткую минуту потерянности: ощущение близости массы людей в большом спящем отеле и вместе с тем чувство полной моей одинокости и беспомощности. Я вспомнила, что в этом же отеле жили знакомые русские студенты — два брата, и вот одного я попросила сбегать за доктором, сама пошла колоть лед, чтобы положить на сердце умирающему. Я слышу, как сейчас, среди давящей тишины июльской, мучительно душной ночи звук удаляющихся шагов по скрипучему песку... Пришел доктор, велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно, громко сказал доктору по-немецки (он очень мало знал по-немецки): “Ich sterbe...”

Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: “Давно я не пил шампанского...”, покойно выпил все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навсегда... И страшную тишину ночи нарушала только,

как вихрь, ворвавшаяся огромных размеров черная ночная бабочка, которая мучительно билась о горящие электрические лампочки и металась по комнате.

Ушел доктор, среди тишины и духоты ночи со страшным шумом выскочила пробка из недопитой бутылки шампанского...

О. Л. Книппер-Чехова. О А. П. Чехове

Вагон для устриц

Этот чудный человек, этот прекрасный художник, всю свою жизнь боровшийся с пош-лостью, всюду находя ее, всюду освещая ее гнилые пятна мягким, укоризненным светом, подобным свету луны, Антон Павлович, которого коробило все пошлое и вульгарное, был привезен в вагоне “для перевозки свежих устриц” и похоронен рядом с могилой вдовы казака Ольги Кукареткиной. Это — мелочи, дружище, да, но, когда я вспоминаю вагон и Кукареткину, у меня сжимается сердце, и я готов выть, реветь, драться от негодования, от злобы. Ему — все равно, хоть в корзине для грязного белья вези его тело, но нам, русскому обществу, я не могу простить вагон “для устриц”. В этом вагоне — именно та пошлость русской жизни, та некультурность ее, которая всегда так возмущала покойного.

М. Горький — Е. П. Пешковой, 11 или 12 июля 1904 г. Москва

Гроб писателя, так “нежно любимого” Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его: “Для устриц”. Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом Чехова шагало человек сто, не более; очень памятны два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках — женихи. Идя сзади их, я слышал, что один, В. А. Маклаков, говорит об уме собак, другой, незнакомый, расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:

— Ах, он был удивительно милый и так остроумен...

Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околоточный на толстой белой лошади. Все это и еще многое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике.

М. Горький. А. П. Чехов

В похоронах знаменитого человека (а к моменту своей смерти Чехов уже был одним из самых известных культурной России людей) всегда сочетаются искренняя скорбь и праздное

любопытство, государственная организация и общественная демонстрация, высокая риторика молитв, надгробных речей и бытовая болтовня в течение долгой церемонии.

Горький в этом смысле не фиксирует ничего необычного: градус "пошлости" в июле девятьсот четвертого был, вероятно, не больше, чем в феврале восемьдесят первого (Достоевский) или – через столетие – в июле восьмидесятого (Высоцкий). Вагон же для устриц (о чем лишь через девяносто лет убедительно написала М. Г. Петрова, но ее мало кто услышал) был не вызывающей пошлостью, а необходимостью: только таким образом, в холодильнике, в июльскую жару гроб мог быть доставлен в Россию. Надпись была закрашена минут через двадцать после прибытия поезда в Петербурге, и ее специально обнаруживали под слоем краски или с противоположной от входа стороны самые настырные корреспонденты.

Горький выхватил сенсационную деталь из газет и сделал символом. Художественная версия, писательский миф оказался прочней, востребованней, чем правда факта. Всуе поминать вагон для устриц, пожалуй, так же пошло, как и слова о Моисее, сорок лет водившем свой народ по пустыне.

Экзальтированная, аффектированная горьковская скорбь (таким, вообще, был тон его писем Чехову) кажется слишком театральной, наигранной на фоне других слов, звучавших в те же самые дни.

И чем, кроме фамилии, провинилась перед ним и чеховской памятью вдова Ольга Кукареткина?

Эпилоги

2 июля 1904 года я приехал в Ялту, чтобы навестить своих мать и сестру. Тогда Антон Павлович с женой находились за границей, в Баденвейлере.

Когда пароход приставал в Ялте к молу, то мне кто-то помахал с берега шляпой. Это был мой двоюродный брат Жорж, служивший агентом в Русском обществе пароходства в Ялте и вышедший на мол принять пароход. Он узнал меня издали, приложил рупором ладони ко рту и крикнул мне с берега:

— Антон скончался!

Это ударило меня как обухом по голове. Хотелось заплакать. Вся поездка, вся эта прекрасная с парохода Ялта, эти горы и море сразу же померкли в моих глазах и потеряли цену.

Я отправился в Аутку. Сестра в это время была с братом Иваном Павловичем в Боржоме. Послали ей срочную телеграмму, а от матери все время скрывали. Ничего еще не подозревавшая, она радостно встретила меня, стала угощать, — но кусок не шел мне в рот, и мне было неловко перед ней, что я скрывал от нее

такое важное событие и должен был поддерживать комедию, чтобы подготовить ее к удару постепенно.

Затем возвратились в Ялту брат и сестра, и тотчас же была получена телеграмма от вдовы о том, что она везет тело покойного через Петербург в Москву. Стали появляться сообщения в газетах. Не прожив и пяти дней в Ялте, я должен был возвращаться опять на север, чтобы встретить тело и проводить его до могилы. Собралась и сестра. Перед отъездом открыли наконец матери тайну. Она схватилась руками за голову, опустилась на ступеньки лестницы, где стояла, и громко зарыдала. Не было сил присутствовать при этом тяжком ее горе. Затем, придя понемногу в себя, стала собираться с нами в Москву и она.

Мы отправились на север вчетвером. Ялтинский дом остался сиротою.

Мы приехали в Москву к самым похоронам. Нас встретил на вокзале в Москве В. С. Миролюбов и повез в карете к университету, так как тело уже прибыло из Петербурга и его несли с Николаевского вокзала в Новодевичий монастырь. Если бы наш поезд опоздал, то мы так бы и не попали на похороны. Несметные толпы народа сопровождали гроб, причем на тех улицах, по которым его несли, было прекращено движение трамваев и экипажей, и вливавшиеся в них другие улицы и переулки были перетянуты канатами. Нам удалось присоединиться к процессии только по пути, да и то с трудом, так как в нас не хотели признавать родственников покойного и не пропускали к телу. Московская молодежь, взявшись за руки, охраняла кортеж от многих тысяч сопровождавших, желавших поближе протиснуться к гробу.

Так мы дошли до самого монастыря под охраной молодежи, которая заботливо оберегала нас от толпы. Когда же процессия стала входить в узкие монастырские ворота, началась такая давка, что я пришел в настоящий ужас. Каждому поскорее хотелось пробраться внутрь, и получился такой затор, что если бы не та же распорядительная молодежь, то дело не обошлось бы без катастрофы. Еле пронесли сквозь ворота гроб, еле вдавились в них мы с депутатами и близкими к покойному людьми, а народ все напирал и напирал. Слышались возгласы и стоны. Наконец ввалилась на кладбище вся толпа — и стали трещать кресты, валиться памятники, рушиться решетки и затаптываться цветы.

Брата Антона опустили в могилу рядом с отцом. Мы взглянули в нее последний раз, бросили по прощальной горсти земли, она ударилась о крышку гроба — и могила за-крылась навсегда.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

Вспоминается мне панихида на кладбище на другой день после его похорон. Был тихий июльский вечер, и старые липы над могилами, золотые от солнца, стояли не шевелясь. Тихой, покорной грустью, глубокими вздохами звучало пение нежных женских голосов. И было тогда у многих в душе какое-то растерянное, тяжелое недоумение.

Расходились с кладбища медленно, в молчании. Я подошел к матери Чехова и без слов поцеловал ее руку. И она сказала усталым, слабым голосом:

— Вот горе-то у нас какое... Нет Антоши...

О, эта потрясающая глубина простых, обыкновенных, истинно чеховских слов! Вся громадная бездна утраты, вся невозвратимость совершившегося события открылась за ними.

А. И. Куприн. Памяти Чехова

Раз, приехав с чьих-то похорон вместе с Чеховым или с кладбища, куда мы с ним часто ездили, я пил с ним чай у себя дома. Мы сидели вдвоем. Я сказал:

— Вот и меня похоронят, и так же придут домой, и станут пить чай, и говорить о всяком вздоре.

Он засмеялся: “Конечно, будет так”.

А. С. Суворин. Дневник, 27 сентября 1900 г.

Глядя в окно на покойника, которого несут:

— Ты умер, тебя на кладбище несут, а я завтракать пойду.

Чехов. Записная книжка

Ровно тридцать лет пролежал в могиле на кладбище Новодевичьего монастыря цинковый гроб, прибывший с германской границы. При похоронах его засыпали сначала свежей землей, а сверх земли великим множеством цветов, зелени и лавров. Потом, через некоторый срок, поставили памятник.

И вот через тридцать лет без нескольких месяцев, 16 ноября 1933 года, в час дня, собралось возле могилы несколько человек. Здесь были немногие артисты Художественного театра — Книппер-Чехова, Москвин, Вишневский, были члены президиума Чеховского общества, фотограф, несколько родственников и знакомых. День выдался очень студеный, совершенно зимний, с колючим снегом и ледяным ветром.

Почти три часа потребовалось на то, чтобы отбить застывшую землю и выбросить ее на снег. Терпеливо и безмолвно стояли собравшиеся долгое время. Какое-то жуткое настроение мешало разговаривать. А землю все копали и копали под налетами сухого, жгучего ветра. Уже зимние ранние сумерки начали нависать, когда наконец дорылись до цинковой крышки и начали подводить канаты, а затем с немалыми трудностями вытянули из

ямы на поверхность, на белый снег, сильно помятый серый гроб и поставили его на дровяные салазки, кое-как сколоченные из тесовых остатков. Но Москвин возразил:

— Нет, товарищи! Давайте понесем на руках.

И первый взялся за металлическую скобку гроба.

Так со старого, упраздненного кладбища в торжественном безмолвии перенесли мы на руках на новое кладбище того же бывшего монастыря прах писателя, туда, где Художественному театру отведена большая площадь, засаженная вишневыми деревцами, цветущими весною.

В этом “вишневом саду” была уже приготовлена новая могила, вблизи аллей с могилами артистов, а также писателей, умерших за последние годы; сюда же перенесен был недавно из бывшего Данилова монастыря прах Гоголя.

Молча подошли мы к новой — второй — чеховской могиле. Гроб стоял уже на помосте, и через минуту его начали опускать. Быстро и безмолвно засыпали яму, над которой вырос небольшой земляной холмик. В торжественном молчании прошло несколько минут у этого нового холмика. Жесткой снежной крупой быстро стал покрываться он, точно белой пеленою. Затем все молча разошлись по своим делам, по своим домам. Ранние зимние сумерки нависли над городской окраиной серою дымкой.

Н. Д. Телешов. А. П. Чехов

Для тех же, кто лично знал Чехова и восхищенной привязанностью к нему скрашивал свое бедное существование, для его сверстников, для людей его возраста это потеря, прямо страшная. Наше поколение вместе с Чеховым умирает для истории, ибо кто из нас останется в потомстве, кого вспомнят через пятьдесят лет? А Чехова будут читать сотни миллионов читателей, и некоторые его вещички достойны будут пережить язык русский, если он когда-нибудь сотрется на земле. Смерть Чехова оставляет огромную пустоту в жизни тех, кто его любил.

М. О. Меньшиков. Памяти А. П. Чехова

Для меня Чехов — самая святая из святынь русской литературы, непосредственно примыкающая к Пушкину и Лермонтову, любимая, как Салтыков, стоящая рядом с Достоевским и Толстым, и, *для нашего поколения,* во многом выразительнейшая и нужнейшая даже обоих последних. Прибавлю к этому, как человек, знавший Чехова, то вблизи, то издали, почти четверть века, — что громадный талант и тончайший ум совмещались в нем с великою душою, беспредельною сердечностью без фраз и громких слов, с твердым и ясным характером, красота которого будет раскрываться с годами все в новых и в новых светах.

А. В. Амфитеатров. Десятилетняя годовщина

Еще не опущено тело Чехова, как заговорили о намогильном памятнике ему. Это прекрасно, но почему именно на могиле ставить памятник? Почему не на какой-нибудь площади в Москве или Петербурге? Потому что это было бы слишком естественно и просто, а у нас обычай класть великого человека под сукно, ждать, когда его забудут, когда вымрет все поколение его знавших и любивших, когда некому будет протестовать против чугунной или мраморной карикатуры, которую воздвигают под названием монумента. Я не понимаю смысла кладбищенских памятников. Поезжайте на Волково, — не смешны ли эти высокие бюсты писателей, глядящие в затылок друг другу? На могиле приличен простой крест - и только. На площади, среди зелени и цветов, — другое дело, но статуя замечательного человека непременно должна быть высокохудожественной работы.

М. О. Меньшиков. Памяти А. П. Чехова

Памятник в ялтинском городском саду — среди зелени и цветов — открыли в 1953 году в присутствии Марии Павловны Чеховой. О художественности этой работы судить трудно.

В холодном апреле давешнем,
Покашливая —
Опять не у дел:
— Маша, смотри, я — памятник. —
И грустно вдаль посмотрел.